## В. М. Дорошевичъ.

### COBPAHIE

СОЧИНЕНІЙ.

T. VII.

РАЗСКАЗЫ.



## В. М. Дорошевичъ.

# СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ.

Tomъ OII.

Разсказы.

Изданіе Т-ва И. Д. Сытина.

Тепогр. Т-ва И. Д. Сытина, Илтницкая ул., свой домъ. Москва.—1906.

Очаровательное горе.

#### Очаровательное горе.

(Маленькая, но глубокая трагедія.)

Мнъ много приходилось видъть картинъ человъческаго горя, но клянусь, я не видалъ несчастія болье прелестнаго, очаровательнаго.

Ея горе состоить въ прелестныхъ плутовскихъ глазкахъ, золотистыхъ волосахъ настоящей Гретхенъ, задорно вздернутомъ носикъ, губкахъ, которыя поэты стараго времени сравнивали со "спълыми вишнями". Когда она улыбается, изъ-за этихъ губокъ, какъ говорили въ старину, "сверкаетъ два ряда жемчужныхъ зубокъ". Когда она плачетъ, ее хочется расцъловать.

Когда она вошла, мнъ показалось, что въ мою комнату ворвался лучъ солнца, струя весенняго воздуха.

Когда она сказала мит своимъ мелодичнымъ серебристымъ голоскомъ: "Я вамъ не помтиала?"—мит показалось, что лучше этого я никогда ничего не слыхалъ въ жизни.

А между тъмъ...

Если бъ вы меня назвали уродомъ, честное слово, это былъ бы самый счастливый день въ моей жизни!— сказала она, и въ голосъ ея послышалось столько неподдъльнаго горя.

— Это несчастіе! Когда я надъваю простенькую іпляпку, — всъ говорять: "какая прелесть!" Если я

хожу въ темномъ платочкѣ, — находятъ, что я похожа на хорошенькую кармелитку. Наконецъ, когда я надѣла вотъ эту зимнюю шапочку, — говорятъ, что я похожа на задорнаго мальчишку. А между тѣмъ я погибаю. Не смотрите хоть вы на меня, какъ на хорошенькую, — выслушайте и скажите, что же мнѣ дѣлать?

Какъ тысячи, она, круглая сирота, прівхала сюда изъ провинціи искать мъста: гувернантки, лектрисы. конторщицы — все равно, честнаго труда.

Она публиковалась въ газетахъ и получила много предложеній.

— Но что это были за предложенія! Я устала ужъ красньть отъ предложеній, которыя мнь дѣлають. Я привыкла къ этому позору, какъ къ чему-то обычному и неизбѣжному. Но тогда я краснѣла, я плакала, я съ ужасомъ спрашивала себя: "за что же, за что меня такъ оскорбляють? Неужели только за то, что я хорошенькая?"

Наконецъ, она остановилась на одномъ. На мъстъ лектрисы.

— Больной разбитый параличомъ старикъ.

Полутрупъ. Право, иногда, во время чтенія, мнѣ дѣлалось страшно. Мнѣ казалось, что онъ умеръ и въ креслѣ лежитъ трупъ. Я поднимала глаза, — онъ смотрѣлъ на меня взглядомъ, въ которомъ свѣтилось чтото странное. Минутами мнѣ казалось, что я сижу рядомъ съ трупомъ, что я слышу даже запахъ разлагающагося тѣла, а трупъ пристально смотрѣлъ на меня тѣмъ же страннымъ взглядомъ, не спуская глазъ. Мнѣ дѣлалось страшно и противно.

Боже, что онъ заставлялъ меня читать по-французски. Я краснъла до корней волосъ, давилась слезами

отъ стыда и оскорбленія. А чаще не понимала. Это было еще хуже. Тогда онъ принимался объяснять мив и не умолкалъ до тъхъ поръ, пока я, молодая дъвушка, не понимала всего. Довольно вамъ сказать, что ньть въ мірь такихъ вещей, которыхъ бы я не знала! А между тъмъ, клянусь вамъ, я дъвушка какъ Жанна д'Аркъ! Здороваясь и прощаясь, онъ долго задерживаль мою руку въ своей, любуясь моимъ смущеніемъ, а между тъмъ, я дрожала отъ отвращенія и страха передъ этимъ полутрупомъ. Не знаю, какъ онъ объясняль себъ мое смущеніе, — но только однажды, когда я, по его просьбъ, поправляла пледъ, закрывавшій его ноги, онъ обнялъ меня за талью, притянулъ къ себъ и поцеловаль. Мне кажется, что я и до сихъ поръ еще чувствую на своей щекъ прикосновение этихъ влажныхъ губъ. Я вырвалась, кажется, ударила его, крикнула что-то и въ ужасъ кинулась вонъ. Меня душили рыданія.

Больше она ужъ не рисковала являться по "мужскимъ приглашеніямъ". Къ счастью, ей скоро подвернулась кліэнтка:

— Пожилая, болъзненная женщина, мужъ которой постоянно живеть въ Петербургъ, отговариваясь дълами. Эта брошенная больная женщина тосковала страшно, возбуждала искренне сожальніе, и я дълала все, чтобъ коть немного ее разсъять въ ея горъ. Я выбирала лучшія, наиболье занимательныя книги, старалась читать съ чувствомъ, съ выраженіемъ, я окружала ее заботливостью, но каждое мое движеніе, самый видъ мой возбуждали ея ненависть. Когда въкнигъ попадались слова "хорошенькая женщина", "красивая дъвушка", она говорила: "смазливая кукла!"—

и смотръла на меня такъ, словно хотъла укусить. Часто она прерывала чтеніе и начинала бранить всвхъ теперешнихъ дъвушекъ, -- словно передъ ней сидъла древняя старуха. И лицо ея дълалось при этомъ такое элое, такое элое. Моя походка, голосъ, прическа,все ее раздражало, выводило изъ себя. Она упрекала меня въ томъ, что я завиваю себъ волосы, - хотя они, право, вьются у меня отъ природы. А когда я пришла въ новомъ синемъ суконномъ платьъ, очень простенькомъ и скромномъ, - она, - въ тотъ день она получила письмо, что мужъ остается въ Петербургъ еще на два мъсяца, — она раскричалась, что я похожа на кокотку, что такія дряни только и умфють, что разрушать семейное счастье и заставлять илакать женщинъ, подметки которыхъ онъ не стоятъ. Что у меня есть обожатели, что она такихъ мерзостей не потерпитъ, и приказала миъ убираться вонъ. За что? Я проглотила и эти слезы.

Должности лектрисы она съ тъхъ поръ боялась, какъ огня, и стала искать мъста гувернантки.

— Отличное мъсто, гдъ я должна была заниматься съ двумя дъвочками.

Прелестные люди. Но однажды за столомъ я почувствовала, что кто-то жметъ подъ столомъ мою ногу. Я взглянула напротивъ и увидала, что братъ моихъ ученицъ, шестнадцатилътній гимназистъ, знающій по именамъ всъхъ пъвицъ "Грандъ-Отеля", всъхъ скаковыхъ лошадей и всъхъ собакъ извъстнаго одесскаго охотника N, — что онъ смотритъ на меня масляными глазами. Затъмъ въ книгъ, которую онъ взялъ у меня почитать, я нашла отъ него записку на розовой бумагъ. И, наконецъ, придя играть съ сестрами,

онъ обнялъ меня за талью и шепнулъ: "Когда же?" Я отправилась жаловаться его матери. Она сначала возмутилась за сына: "Не можетъ быть! Ваши мысли дурно направлены, mademoiselle!" Но когда я показала ей записку, она смутилась и сказала: "Хорошо, ступайте, я разберу это дъло!"

Черезъ часъ она пригласила меня къ себъ и сказала, подавая мнъ деньги:

— Простите, mademoiselle, но дольше мы держать васъ не можемъ. Ваня, оказывается, слишкомъ взрослый. Конечно, это наша вина, мы должны были бы подумать объ этомъ, когда брали въ домъ молодую дъвушку... Вотъ вамъ, въ виду этого, за мъсяцъ впередъ, дольше оставаться вамъ нельзя.

Я снова очутилась на улицъ.

На этотъ разъ страдалица,—вы мнѣ позволите называть ее страдалицей, потому что на глазахъ ея во время разсказа блестятъ слезы обиды и горя,— на этотъ разъ страдалица рѣшила бѣжать "изъ этого проклятаго города" и съ восторгомъ схватилась за приглашеніе въ деревню:

— Отличное мъсто. Трое дътей... Но отецъ! Я не говорю уже о томъ, какъ страдали мон ноги подъ столомъ. Онъ всегда умълъ улучить минутку, чтобъ пожать мнъ локоть или незамътно поцъловать въ затылокъ. Онъ началъ являться въ дътскую и просиживать цълыми днями. А по вечерамъ я слышала тихій, осторожный стукъ въ дверь моей комнаты, которую изъ-за предосторожности запирала, словно была окружена разбойниками! О, это были ужасные дни! Къ тайнымъ приставаньямъ мужа примъшалась явная ревность жены. Онъ начиналъ у ъ злится, она

бъсилась. Однажды онъ ни съ того ни съ сего придрался, накричалъ на меня, она сдълала намъ обоимъ сцену. Приказали запрячь лошадь и отвезли меня на станцію.

Очутившись снова на одесской мостовой, она перепробовала, кажется, всъ занятія, возможныя для женщины, всъ, кромъ одного.

- Я поступила въ большой торговый домъ. Управляющій перевель меня въ комнату, поближе къ нему, спрашивалъ, что за охота мнѣ, такой хорошенькой, служить за 30 рублей въ мѣсяцъ. Предлагалъ билеты въ театръ. Одинъ резъ требовалъ, чтобы я непремѣнно выпила рюмку какого-то ликера. И, наконецъ, когда я однажды вошла въ кабинетъ, прося объяснить мнѣ что-то непонятное въ счетахъ, опъ взялъ меня за подбородокъ: "Ахъ, вы милое дитя, дитя!" и поцѣловалъ меня въ губы. Когда я крикнула на него и сказала, что буду жаловаться, я сдѣлалась плохой служащей. Все у меня было не въ порядкѣ, и въ концѣконцовъ я была уволена "за плохое поведеніе и небрежное отношеніе къ дѣламъ".
- Я поступила въ магазинъ. Хозяинъ однажды попросилъ меня прійти вечеромъ и подвести счета, и вдругъ ни съ того ни съ сего заговорилъ, что онъ чувствуетъ въ своей жизни пустоту, что они съ женой — только друзья, что въ 7 лѣтъ супружеской жизни всякая любовь гаснетъ и въ заключеніе предложилъ мнѣ поѣхать въ загородный ресторанъ, потому что у него голова болитъ и мнѣ нужно освѣжиться.
- Видя, что ничего не добьешься, я рѣшила пойти на сцену. Тамъ, кажется, красота не составляетъ недостатка! Хоть тарелки выносить, хоть за 25 рублей слу-

жить, но ъсть свой честный кусокъ хлъба. Въдь могу же я оставаться честной. Пусть это будеть мой капризъ! — сказала она съ глазами полными слезъ, улыбаясь грустною улыбкой.

Но ея сценическая карьера кончилась такъ же скоро, какъ и всъ остальныя.

— Въ маленькомъ дачномъ театришкъ, гдъ я служила, мнъ не только не заплатили за первый же мъсяцъ, но даже разсмъялись, когда я заикнулась объ уплать: "Такая хорошенькая и хлопочеть о какихъ-то грошахъ!" У театра былъ меценатъ, богатый дачникъ, и антрепренеръ, — правда, конфузясь, — просилъ меня: "Право, поужинали бы съ нимъ. Онъ уже который разъ говоритъ мнъ. А то разсердится и отомститъ мнъ ". И, ужъ не конфузясь, предложилъ мнъ поужинать съ нимъ самимъ. Съ нимъ! Съ этимъ жалкимъ антрепренеромъ, живущимъ на подачки! А что это было за несчастное существо! Неужели только потому, что женщина хорошенькая, всякій Богомъ и судьбой обиженный человъкъ можетъ имъть на нее право? Мнъ дали рольку въ водевилъ, но зато режиссеръ меня спросиль: "Когда можно прійти къ вамъ... чтобъ пройти рольку?"... А когда я сказала, что никогда, оказалось, что я и безъ словъ-то на сцену не умъю выйти.

Я не буду утомлять васъ разсказомъ.

Но, Боже, сколько оскорбленій! Если бъ вы знали, сколько оскорбленій!

Она сидъла передо мной, подавленная своимъ горемъ, заключающимся въ хорошенькомъ личикъ.

— Что же мив двлать? Неужели облить себвлицо сврной кислотой, чтобы отыскать честный кусокъ хлвба? Люди все прощають женщинв, кромв одного —

красоты. За красоту она должна заплатить паденіемъ Неужели это такъ?

И я сидълъ передъ ней, не зная, что сказать...

Вы, можетъ-быть, думаете, что это вымысель?

Нътъ, я познакомилъ васъ съ посътительницей, которая, дъйствительно, только что вышла изъ моей комнаты.

Она хочеть оставаться честной!

— Изъ упрямства! — какъ говоритъ она.

Черезъ два-три дня ей нечего будетъ всть.

У нея ничего нътъ, кромъ маленькаго револьвера, который она купила себъ, получивъ первое оскорбленіе. И она не продастъ его, чтобы купить себъ кусокъ хлъба.

Неужели...

Неужели она должна будеть покончить съ собой только изъ-за того, что она имфеть несчастіе быть хорошенькой?

Неужели красота такое проклятіе для молодой честной, ищущей труда дъвушки? Такое горе?

— Xa-xa-xa! — расхохочется читатель. — Многія изъ вашихъ читательницъ захотѣли бы испытать такое "горе!"

Tope!

Что дълать! Все можетъ превратиться въ горе для этого несчастнаго существа, которое называется человъкомъ.



Писательница.

#### Писательница.

(Изъ воспоминаній редактора.)

— Васъ желаетъ видъть г-жа Маурина.

Ахъ, чортъ возьми! Маурина...

— Попросите подождать... Я одну секунду... одну секунду...

Я перемънилъ визитку, поправилъ передъ зеркаломъ галстукъ, прическу и вышелъ...

Вфрифе-вылетфлъ.

— Ради Самого Бога, простите, что я васъ заставилъ...

Передо мной стояла пожилая женщина, низенькая, толстая, бъдно одътая. Все на ней висъло, щеки висъли, платье висъло.

Я смъщался. Она тоже.

- Маурина.
- Виноватъ, вы, въроятно, матушка Анны Николаевны?

Она улыбнулась грустной улыбкой.

- Нътъ, я сама и есть Анна Николаевна Маурина. Авторъ помъщенныхъ у васъ разсказовъ...
- Но позвольте! Какъ же такъ? Я знаю Анну Ни-колаевну...

— Та? Брюнетка? Она никогда не была Анной Николаевной... Это... это обманъ. Не сердитесь на меня. Выслушайте...

Она была растеряна. На глазахъ стояли слезы.

- Вы позволите мить състь?
- **Ахъ**, конечно... Прошу... прошу... Простите, что я раньше...
- Нътъ, ничего! Ради Бога, не безпокойтесь... Позвольте мнъ вамъ разсказать... Не сердитесь... Разсказы писала я... Вотъ, видите ли, мнъ хотълось печататься... Не только для гонорара,—нътъ. Мнъ казалось, что у меня есть, что сказать. Я много пережила, неречувствовала, много думала. Мнъ хотълось писать. Я написала три разсказа и отнесла въ три редакціи. Можетъ-быть, это были недурные разсказы, можетъбыть, плохіе. Я не знаю... Они... они не были прочитаны. Одинъ изъ разсказовъ былъ и у васъ. Я приходила пъсколько разъ, мнъ говорили, что вы заняты "черезъ недълю"! Наконецъ, вашъ секретарь передалъ мнъ разсказъ съ помъткой "нътъ". Простите меня, но вы его не читали!
  - Сударыня, этого не можетъ...
- Этотъ разсказъ былъ потомъ напечатанъ у васъ же!—отвътила она тихо и печально. Тогда мнъ въ голову пришла мысль... быть можетъ, очень нехорошая... быть можетъ, очень очень дурная... Я... Въ тъхъ же меблированныхъ комнатахъ жила молодая дъвушка, гувернантка безъ мъста, очень красивая... Та самая, которая приходила къ вамъ подъ именемъ Анны Николаевны Мауриной и... простите меня... талантомъ которой вы такъ заинтересовались. Она также силъла безъ средствъ, и я предложила ей комбинацію

Я буду писать, а она-носить мои разсказы отъ своего имени... Вы знаете, портретъ автора при сочиненіяхъ всегда интересуетъ... Особенно, когда такой портретъ! Я посмотръла на нее: роскошные волосы, глаза, фигура, щеки, отъ которыхъ пышетъ молодостью и жизнью. Въ ней есть все, чтобы заинтересовались ея психологіей. Не сердитесь на меня, я ничего не хочу сказать дурного ни про васъ ни про вашихъ коллегъ! Ничего! Никъмъ не было сдълано ни одного слишкомъ сквернаго намека! Ни одного слишкомъ вольнаго слова! Но когда она отнесла разсказы по редакціямъ, ей отвътъ дали черезъ три дня. Только и всего! И всф разсказы были приняты. Боже мой! Это такъ естественно! Молодая, очень красивая женщина пишеть. Интересно знать, что думаеть такая красивая головка! Сначала въ особенности-разсказы бывали не совсвмъ удачны, и нъкоторые гг. редакторы были такъ добры, что сами ихъ передълывали. И съ какой любовью! Вычеркивали, но какъ осторожно, съ какимъ сожалъньемъ: "Мнъ самому жаль, но это немножко длинно, дитя мое". Она мнъ, обыкновенно, разсказывала всъ подробности своихъ визитовъ. Удивлялись: "Какъ вы, такая молоденькая, — и откуда вы все это знаете?" Простите меня, ради Бога! Это ваши слова. Но и другіе говорили то же самое. Изумлялись ея талантливости. "Откуда у васъ такія мысли?" Всякая мысль получаеть особую прелесть, если она родилась въ хорошенькой головкъ! Жизнь не выучила меня быть оптимисткой. И такая молоденькая, такая красивая женщина со взглядами, полными пессимизма! Это придавало ей только интересъ. Ей и "ея" разсказамъ! Она всегда мнъ разсказывала все, что ей говорили. И мы, - простите меня,—много смѣялись. Она очень весело, я не такъ... Но все-таки, смѣйтесь надо мной,—отъ похвалъ у меня кружилась голова. Какъ замѣчали всякое красивое, удачное, чуть-чуть оригинальное слово! Наши дѣла шли великолѣпно. Мы зарабатывали рублей двѣсти въ мѣсяцъ. Сто я отдавала ей, сто брала себѣ. И все шло отлично. Какъ вдругъ... На прошлой недѣлѣ та Анна Николаевна поступила въ кафешантанъ.

- Въ кафешан...
- Въ кафешантанъ. Тамъ ей показалось веселье, и предложили больше денегъ. Я умоляла ее не бросать литературы. Въдь мы были наканунъ славы. Еще полгода—мы стали бы зарабатывать 500—600 рублей въ мъсяцъ. У меня почти готовъ романъ. У нея бы его приняли. Я умоляла ее не губить моей литературной карьеры. Она ушла: "Тамъ веселье!.." Что мнъ оставалось дълать! Взять на ея мъсто другую? Но это было бы невозможно: сегодня одна Маурина, завтра другая... Да и къ тому же... не сердитесь на меня... я думала, я надъялась, что мои труды, одобренные, печатавшіеся, дають ужъ мнъ право выступить съ открытымъ забраломъ... съ некрасивымъ лицомъ... Не гнъвитесь же на меня за маленькое разочарованіе.
- Я... я, право, не знаю... все это такъ странно.. Такая нелитературность пріема...

Она сдълала такой жестъ, словно я собираюсь ее бить.

— Не говорите мнѣ! Не говорите! Я ужъ слышала это! Въ одной ужъ редакціи меня почти выгнали. "Нелитературный пріємъ! Расчеть на какія-то постороннія соображенія! Это не принято въ литературѣ!.." И вотъ я пришла къ вамъ. Вы всегда такъ хорошо относи-

лись къ... моимъ разсказамъ. Вы такъ хвалили. Не откажите прочитать вотъ эту вещицу. Это въ томъ родъ, который вамъ у нея особенно нравился. Ей вы читали въ три дня. Мнъ можно зайти черезъ недълю?

- Помилуйте... зачъмъ же черезъ недълю... увъряю васъ... вы ошибаетесь...
  - Не сердитесь!
- Я прошу васъ зайти черезъ три дня. Черезъ три дня разсказъ будетъ прочитанъ!
  - Можетъ-быть, лучше черезъ...
- Сударыня, повторяю вамъ: че-резъ три дня раз-сказъ будетъ про-чи-танъ. Имъю честь кланяться!

Черезъ три дня я получилъ черезъ секретаря записку:

"Я говорила, что лучше черезъ недълю. Не сердитесь на меня, я зайду еще черезъ недълю. Уважающая васъ Маурина".

Такая досада, чортъ возьми! Непремѣнно надо было прочитать,—и забылъ!

Затъмъ... Я ужъ не помню, что именно случилось. Но что-то было. Осложненія на Дальнемъ Востокъ, затьмъ недородъ во внутреннихъ губерніяхъ — вообще событія, на которыя публицисту нельзя не откликнуться. Словомъ, былъ страшнымъ образомъ занятъ. Масса обязанностей. Положительное отсутствіе времени, При спъшной, лихорадочной газетной работъ... Потомъ разсказъ, въроятно, куда-то затерялся. Я не могъ его найти...

Недавно я встрътилъ въ одномъ новомъ журналъ подъ разсказомъ подпись Мауриной.

Вечеромъ я встрътился съ редакторомъ.

- Кстати, а у васъ Маурина пишетъ?

- А вы ее знаете? Правда, прелестный ребенокъ?
- Да?
- И премило пишетъ, премило. Конечно, немножечко по-дамски. Длинноты тамъ, отступленія. Приходится передѣлывать, перерабатывать. Но для такого талантливаго ребенка прямо не жаль. У насъ въ редакціи ее всѣ любятъ. Прямо,—войдетъ, словно лучъ солнца заиграетъ. Прелестная такая. Дѣтское личико. Чудная блондинка.
  - Ахъ, она блондинка?
  - Блондинка. А что?
  - Такъ... Ничего...



Петербургъ.

#### Петербургъ.

Это разсказывала мнъ одна очень красивая актриса въ одну изъ тъхъ странныхъ минутъ откровенности, которыя иногда почему-то находятъ на женщинъ.

Просто привычка декольтироваться. Имъ иногда хочется декольтировать и свою душу.

— Je ne suis pas difficile. Вы знаете мое амилуа: grande coquette. Оно требуеть платьевь и брильянтовь. За таланть мнт дали бы немного. А таланть моихъ портнихъ приходится оплачивать очень дорого. Къ тому же... Я могу думать о добродътели очень много, — больше даже, чтм другія, —но только до тъхъ поръ, пока я не вижу другой женщины въ хорошемъ платьт. Тогда я перестаю думать о добродътели и начинаю думать о платьть.

Когда я вхала въ Петербургъ, я отлично знала, что меня ожидаетъ и о чемъ я должна прежде всего позаботиться. Въ Петербургъ есть люди, мимо которыхъ трудно пройти молодой актрисъ. Театръ, это — зданіе, у входа въ которое стоитъ нъсколько свъжевыкрашенныхъ столбовъ. Мимо нихъ трудно пройти, не испачкавшись.

Въ первую же субботу въ циркъ я смотръла на этихъ господъ и думала только:

— Который?

Иксъ? Игрекъ? Дзэтъ?

Въ сущности они были для меня всѣ безразличны. И я задавала себѣ этотъ вопросъ безъ всякой муки. Не подумайте!

Просто изъ любопытства. Въдь это же касалось меня и, кажется, можно сказать, касалось довольно близко.

"Имъ" оказался Иксъ. Даже лучшій изъ нихъ! Съ большимъ вліяніемъ въ театръ, съ хорошимъ положеніемъ, съ отличными средствами.

Могъ быть полезенъ и для карьеры и въ смыслъ портнихъ.

Онъ попросилъ, его мнъ представили. Явился съ визитомъ, привезъ цвътовъ, потомъ конфетъ.

Собственно говоря, все было ръшено съ перваго момента.

Объ этомъ, конечно, не говорилось. Развъ можно! Но это отлично понимали оба.

Онъ говорилъ, что онъ одинокъ и ему нужно существо, которое онъ бы любилъ. Это наполнитъ его жизнь. Говорилъ, что онъ не молодъ, "конечно, не мальчишка", но постояненъ и способенъ на глубокое чувство.

Я, улыбаясь, отвъчала:

— Вамъ ли говорить объ этомъ? Сколько женщинъ, я увърена, мечтаютъ...

Такъ мы торговались, говоря совсѣмъ о другомъ. Онъ давалъ понять:

"Не думай, матушка, я разорюсь ради тебя или надълаю глупостей. Нътъ! Но хорошее вознаграждение ты получишь. И это ен нъчто мимолетное, а такъ, на годъ, на два!"

Я отвъчала взглядомъ:

"Что же ты медлишь, дурашка?"

Ему достаточно было, ну, какъ-нибудь подольше поцъловать мнъ руку—и я "упала бы въ его объятія":

- Я твоя!

И я думала:

- Поскоръй бы!

У зубного врача такъ просишь:

— Докторъ, вырвите зубъ, но поскоръй!

Очевидно, онъ не находилъ повода къ чему-нибудь лишнему.

А я смотръла на него почти умоляюще.

— Да найди же, найди!

Отыграть эту роль въ глупой комедіи. Изобразить страсть. И начать посылать къ нему счета отъ портнихъ.

А онъ все говорилъ, все говорилъ и не давалъ мнъ, ну, повода, чтобъ сказать:

- Я твоя.

Престранный городъ вашъ Петербургъ.

Я спращивала потомъ у другого, у молодого:

— Отчего вы, господа, все съ подходцемъ? Отчего не прямо?

Онъ улыбнулся, - и очень самодовольно:

— Даже устрицу не глотають такъ, сразу. А сначала посмотрять на нее, потомъ осторожненько счистять бородку, потомъ любовно пожмутъ надъ ней лимонъ, потомъ мягко поддънутъ на вилку. А такъ, взялъ... Passez moi le mot, но это ужъ значитъ "сожратъ", а не съъсть. Не съъсть со вкусомъ!

Жуиры говорятъ:

- Пулярка любить, чтобь ее хорошо съвли.

Ну, я, въроятно, плохая пулярка и предпочитала бы, чтобъ меня просто сожрали, съ костями, только сразу!

Терпъть не могу, когда надо мной давять лимонъ!!!

Итакъ, онъ продолжалъ фздить и говорить.

Однажды—это было въ сумеркахъ, когда и безъ того становится грустно на душѣ— онъ спросилъ меня:

— Вы, навърно, никогда не бываете въ церкви, другъ мой?

Онъ всегда говорилъ со мной такимъ тономъ, добрымъ и ласковымъ, словно былъ мнѣ крестнымъ отцомъ.

Я отвъчала:

— Когда умираетъ кто-нибудь изъ моихъ товарищей или выходитъ замужъ какая-нибудь изъ моихъ подругъ. Первое случается чаще, чъмъ второе!

Онъ вздохнулъ съ сожалъніемъ:

— Напрасно, напрасно! Тамъ хорошо. Хорошо въ церкви. Бога забывать не слъдуетъ. Вы, въроятно, и не креститесь даже никогда?

Я разсмъялась.

— Напротивъ! Часто, очень часто и очень много. Когда выхожу на сцену въ новой роли и трушу!

Голосъ его сталъ совсъмъ печальнымъ.

— Не слъдуетъ смъяться надъ этимъ! Не слъдуетъ! Хотя бы во имя вашего дътства. Вспомните ваше дътство.

Со мной не надо говорить о дътствъ. Въ немъ ничего ни хорошаго ни отраднаго. Но когда мнъ напо-

минають о моемъ дътствъ, у меня слезы подступають къ горлу.

Я чувствую себя такой маленькой, страдающей, безпомощной.

Не надо говорить со мной о дътствъ! Не надо! Мы, кокотки, всъ сплошь сентиментальны.

А онъ продолжалъ:

— Вспомните ваше дътство, когда вы, маленькая, въ кроваткъ, сложивъ ручонки, молились "Боженькъ". Молились со слезами. Развъ не легче вамъ тогда было?

Я готова была разрыдаться.

- Вы и образка, въроятно, не носите на шеъ? Глотая слезы, я постаралась обратить все въ шутку:
- При моей профессіи! Я должна ходить декольтированной!

А онъ продолжалъ печальнымъ голосомъ, полнымъ сожалънія:

— Не тогда, когда вы занимаетесь вашей профессіей, а тогда, когда вы дома, одна, когда вы спите... Хотите, я привезу вамъ образокъ?

Ему это нравится!

— Пожалуй!

Онъ оставилъ меня разстроенной, взволнованной, несчастной.

Я заплакала, — не знаю, о чемъ.

На слъдующій день онъ прівхаль ко мнѣ и смотрълъ на меня, какъ на ребенка, еще мягче, еще ласковъе.

— А я привезъ вамъ образокъ. Освященный.

Онъ вынулъ изъ коробочки золотой образокъ на тоненькой цфпочкъ.

Перекрестился и поцёловаль его самь.

Перекрестилъ меня.

— Перекреститесь и поцълуйте, другь мой.

У меня не въ порядкъ спинной мозгъ. Отъ этого я черезчуръ впечатлительна.

Я не знаю, что было со мной. У меня были холодныя руки и ноги. Я хотъла рыдать, плакать, я хотъла упасть на колъни.

Мнъ было стращно надъть на себя образокъ.

 Дайте, мой другъ, это сдълаю я, я самъ. Я самъ надъну на васъ.

Онъ дрожащими руками началъ разстегивать мой капотъ.

Я задрожала вся, когда холодная цёпочка дотронулась до моей шеи.

А онъ разстегивалъ дальше и дальше.

— Вотъ такъ. Вотъ такъ.

Онъ словно игралъ на роялъ. Его холодные пальцы дрожали и прыгали по моему тълу.

Я съ ужасомъ ждала прикосновенія образка.

- Какая грудка!

И вдругъ на томъ мъстъ, гдъ долженъ былъ холодный образокъ коснуться груди, я почувствовала что-то мокрое, трясущееся.

Его губы.

Словно жабу, осклизлую и мокрую, положили мнъ на грудь.

Я закричала не своимъ голосомъ и толкнула его такъ, что онъ полетълъ, чуть-чуть не ударился головой о косякъ стола, упалъ въ углу, около этажерки.

Я кричала, схватившись за голову.

— Уйдите, уйдите отъ меня! Не подходите, не подходите!

Онъ сидълъ на полу, блъдный, съ отвислой челюстью, старый, испуганный, дрожащій отъ желанія.

Онъ былъ отвратителенъ и страшенъ мнъ.

Я боялась за себя, за молодую, за сильную, что я съ нимъ что-нибудь сдълаю.

Я кричала ему:

- Вонъ... вонъ... упдите сепчасъ!..

Если бы меня изнасиловалъ пьяный бродяга, мнъ было бы легче, чъмъ это...

Такъ все и разстроилось.

Вмъсто человъка "съ тонкой организаціей" я досталась купцу.

Онъ... Вы знаете, какъ купцы ѣдятъ устрицъ? Сковырнулъ вилкой, проглотилъ.

— Э-э, чортъ! Лимону позабылъ пожать. Ладно, надъ слъдующей пожму!

Просто, а тутъ...

Зачъмъ до души надо дотрогиваться трясущимися руками? Въдь есть тъло, и хорошее тъло!..

И она почти крикнула мив:

— Зажгите лампу! Скоръй! Скоръй! Мнъ страшно! Я боюсь, что и вы... начнете говорить о возвышенныхъ предметахъ!



## ВСТРЪЧА.

#### Встрвча.

Было поздно.

Даже безпутный Монмартръ заснулъ. Гарсоны въ длинныхъ бълокурыхъ парикахъ, одътые ангелами, заперли "Cabaret du ciel". Надъ "кабачкомъ смерти" погасили зеленый фонарь, превращавшій проходящихъ мимо въ мертвецовъ. Погасли красные огни "Moulin".

Только въ "Rat mort" "Сугапо", "Place Blanche" за спущенными шторами свътился огонь. Оттуда слышались шумъ, смъхъ, визгъ скрипки.

Въ верхнемъ залъ "Place Blanche" было шумно и тъсно. Выли, ныли, стонали, визжали скрипки цыганъ. Смъхъ, звонъ посуды, взвизгиванья. Пахло еаи de Lulin, сигарами, кухней, потомъ, тъломъ, виномъ. Женщины съ усталыми лицами, ихъ сутенеры — всъ, кто работаетъ ночью.

Я спросилъ себъ шампанскаго "extra dry", а потому сидъвшая вблизи женщина въ яркомъ платьъ, огромной шляпъ съ колоссальными перьями обратилась ко мнъ съ нъсколькими словами по-англійски.

Я отвътилъ, что не англичанинъ.

Тогда ко мнъ обратилась по-нъмецки толстая, огромная, старая нъмка, въроятно забытая пруссаками въ 71-мъ году.

Я сказалъ, что и не нъмецъ.

- Онъ русскій! воскликнула сидъвшая неподалеку француженка и обратилась ко мнъ по-русски: Ты русскій? Правда?
  - Ты говоришь по-русски?
  - Ого!

И она "загнула" по-русски нъсколько такихъ фразочекъ, что я только ротъ разинулъ.

- Правда хорошо?
- Экъ тебя обучили!
- Я была гувернанткой.
- Ну да, я была въ Россін гувернанткой, обратилась она къ другимъ женщинамъ, и воспитывала ихъ дътей!

Всъ расхохотались.

Это становилось интереснымъ.

- Хочешь присъсть? Хочешь стаканъ вина?
- Я бы что-нибудь съвла!—сказала она небрежно, присаживаясь къ столу. Гарсонъ, что у васъ есть?

Но когда она читала карточку, руки ея дрожали. Она была очень голодна.

Это была женщина въ яркомъ, очень дешевомъ платъв, которое въ первую минуту казалось очень шикарнымъ. Въ боа изъ первевъ, которыя въ первый моментъ казались страусовыми. Въ огромной шляпъ, которая на первый взглядъ казалась совершенно новой.

Гримировка вмѣсто лица. Краски превращали этотъ черепъ, обтянутый кожей, въ головку хорошенькой женщины. А ярко-красныя губы, губы вампира, давали объщанія, которыхъ не могла сдержать эта усталая актриса. Жизнь дала ей такую роль—играть краснвую, молодую, непремънно свъжую женщину.

Сколько ей могло быть льть?

Не все ли миъ равно, въдь я не собирался ею увлекаться.

Она это замѣтила и строго сказала:

- Quand même, tu dois être gentil avec ta petite femme mon coucou! Ты студентъ?
  - Нътъ, я не студентъ. Почему ты думаешь?
- У насъ студенты очень любять ходить, гдѣ есть много женщипъ, и сидѣть вотъ такъ, какъ ты... Гамлетомъ!

Она чувствовала легкое опьяньніе отъ вды, какъ чувствують его очень проголодавшіеся люди.

А принявшись теперь за шампанское, пьянъла сильнъе и сильнъе.

— Это презабавный народь — русскіе! — воскликнула она, показывая на меня и обращаясь къ окружающимъ. — Они не хуже и не лучше другихъ. Такія же свиньи, какъ и всъ. Но никто столько не расканвается! Они всегда расканваются! Ихъ любимое занятіе. Напиваются пьяны и плачутъ, бьютъ себя въ грудь, а потомъ другихъ по головъ. И самое любимое ихъ слово — "подлецъ". "Я подлецъ, и ты подлецъ, и всъ мы подлецы!" Это у нихъ обязательно. Безъ этого они не считаютъ себя "порядочными людьми". Очень весело сидъть въ такой компаніи!

Всъ захохотали. Многіе придвинулись ближе.

— Развъ это не правда? Никто столько не кается! Вы знаете, о чемъ они говорятъ съ женщиной? Самый любимый вопросъ: какъ ты дошла до этого... У нихъ даже есть стихи такіе любимые.

И она продекламировала съ павосомъ:

— "Какъ дошля ти до жисни такой?" Это всегда всякій говоритъ: "Ахъ, ты бъдная, бъдная!" А самърукой.

Настроеніе кругомъ становилось все веселѣе и веселѣе.

- Ah, ils sont drôles, les russes!
- Я знаю отлично Россію! Отъ самыхъ лучшихъ семействъ... Ты знаешь, не кто-нибудь. Самыя лучшія фамиліи. Ты русскій, ты долженъ знать.

И она принялась сыпать громкими фамиліями.

— И кончая домомъ...

Она назвала и этотъ домъ.

— Меня взяли бонной въ Россію изъ одного монастыря на avenue Malacoff. Оттуда куда-нибудь не пустять! Я росла у сестеръ на avenue Malacoff, за высокимъ заборомъ, въ домъ, стъны котораго отдъланы изразцами съ изображеніями святыхъ, и съ садомъ съ блъдными, чахлыми деревьями, которыя словно тоже были всв женщинами и дали обътъ монашества. Такія они были унылыя! Меня отдали въ бонны къ русской дамъ изъ отличнъйшей фамиліи. Отличнъйшая фамилія и отличнъйшіе друзья, разоренное имънье,какъ это у нихъ у всёхъ, -и шесть человекъ детей! Ахъ, эти русскіе! Они совсьмъ не знають воздержанія! И шикари плодять нищихъ съ замашками шикарей. Нигдъ нътъ столько аристократіи, какъ въ Россіи, и даже въ метръ д'отеляхъ кафе щантановъ встръчаются люди съ громчайшими фамиліями! Настоящее перепроизводство. Они расточители во всемъ. Когда у насъ мало средствъ, мы живемъ одинъ день въ недълю, а шесть копимъ и отказываемъ себъ во всемъ. А они хотять принимать, выважать, блистать каждый день. И каждое новое платье madame стоило сотни заплатокъ на штанахъ и носкахъ дътей. Бълье мы чинили и ставили рубецъ на заплату, заплату на рубецъ, а madame по утрамъ рыдала, а вечеромъ надъвала новое платье и ъхала. Мопянеи по утрамъ рвалъ на себъ волосы, а вечеромъ угощалъ гостей двухрублевыми сигарами. Это шесть франковъ.

Всъ кругомъ воскликнули и съ удивленіемъ и съ порицаніемъ:

- A-a! 0-o!
- Нищета, разореніе, покрытыя сверху шелкомъ, который взяли въ кредитъ, и кружевами, которыя достали чуть не мошенническимъ образомъ. Настоящіе азіаты, дикари, у которыхъ шатры покрыты дорогими коврами и которые спять въ этихъ шатрахъ на голой землъ въ лужъ грязи. А, въ нихъ много Азіи! Вся нищета была на мнв. Шесть человъкъ дътей! Одъвать, раздъвать, умывать, причесывать, гулять съ ними, играть, каждую минуту приводить въ порядокъ, а по вечерамъ еще штопать чулки и класть заплаты. Русскіе воспитались на кръпостномъ правъ, и никто такъ не умъетъ устраивать кръпостного права, какъ они. Служащаго нътъ, - его сейчасъ же дълаютъ кръпостнымъ. Онъ и не замътитъ! У насъ есть и работа, очень тяжелая, но есть и отдыхъ. У русскихъ отдыха нътъ, это называется "ничего не дълать". - "Mademoiselle, вы ничего не дълаете-сдълайте то-то". И вы не можете отвътить: "Какъ я ничего не дълаю? Я отдыхаю". Это примуть за шутку. Сегодня вы штопаете чулки дътямъ просто изъ жалости, завтра-изъ любезности, послъзавтра madame уже кричить: "Mademoiselle, что жъ

это у дътей не заштопаны чулки!" Имъ пельзя оказать любезности, — черезъ два дня это станетъ вашей обязанностью. Сегодня - любезность, завтра - привычка, послъ завтра — обязанность. И въ концъ-концовъ на васъ навалятъ столько обязанностей, что вы никогда не будете принадлежать себъ. Васъ сдълаютъ кръпостной. О, этотъ народъ кръпостного права! Мнъ приходилось работать по 18 часовъ въ сутки. Штопанье дътскаго, даже починки для madame! Благодарю покорно. J'en ai plein le dos! Въ одинъ прекрасный день я переколотила всёхъ дётей, всёхъ этихъ маленькихъ нищихъ, которые — они въдь голубой крови! -- кидали мий въ лицо свое бълье: "Я пожалуюсь ташап, вы опять дали мнф рваную рубашку!" Да другихъ-то и не было, будущіе обитатели остроговъ! Я наговорила дерзостей madame. Чтобы сдълать больше непріятностей въ домф, я навизжала, что monsieur хочетъ что-то со мной сделать. Въ хорошенькомъ положень в оставляла домъ! Всв ревъли, всв катались въ истерикъ, всъ хватались за головы. Кушайте! И часа больше не осталась, — ушла! А, эти мъста "бонны въ домъ"! Я ихъ знаю! Я ихъ перемънила восемь въ теченіе года! Мъста! Гдъ хозяннъ дома не можетъ васъ видъть безъ того, чтобы у него не задрожали углы губъ и въ глазахъ не запрыгали черти! Гдъ старшій сынъ является вдругь въ вашу комнату въ 11 часовъ вечера, садится къ вамъ на кровать и спрашиваеть: "Mademoiselle, какъ перевести по-французски эту фразу?" А у самого голосъ дрожитъ! Мъста, гдъ старъющая, блекнущая, ссыхающаяся или расползающаяся, какъ желе, madame смотрить на вась злыми глазами и старается вась коль-

нуть побольное, по-женски. Гдо молодая довушка не можеть надъть бантика. Гдъ каждый вашъ бантикъ оказывается "верхомъ безобразія". "Что это вы за гадость еще нацфпили? Фи! Снимите! Вамъ это не идетъ! Какъ это, -- удивляюсь: француженка, и совсъмъ, совсъмъ не умъете одъваться!" Ваши духи, о маленькомъ флаконъ которыхъ вы такъ мечтали и которые, наконецъ, купили, - всегда отбиваютъ аппетитъ у madame, оказываются отвратительными, заставляють ее морщить нось: "Чъмъ это вы? Что это такое?" Дома, гдв на васъ смотрять, какъ на склянку съ ядомъ, котораго, боятся, не хлебнулъ бы мужъ или сынъ. И вы знаете, русскіе еще требують, чтобы гувернантки, бонны любили домъ, гдъ служатъ, дътей, хозяевъ, вещи, -- кажется, самыя стфиы! Какъ же! "Что это за гувернантка, что это за бонна! Она знаетъ только свое дёло, а любви къ дому у нея никакой нътъ!" Хуже такой аттестаціи у нихъ ничего нътъ. Любви! Да я не знаю, до какого нравственнаго паденія надо дойти, чтобы еще любить ту руку, которая васъ бьеть по щекамъ. Если въ ней есть хоть чуточка нравственной порядочности, хоть капелька человъческаго достоинства, если это не безнадежно нравственно надшее существо, - она должна ненавидъть хозяевъ, ихъ домъ, ихъ дътей. Это все, что остается ея человъческому достоинству. И единственное нравственное удовлетвореніе получаеть человінь, служащій вь русскихъ домахъ, только тогда, когда онъ уходитъ! Тутъто напъть имъ, какъ слъдуетъ! Ахъ, я это ужасно любила. Быть-можетъ даже, я чаще мъняла мъста потому, что никакъ не могла дождаться этого удовольствія! Словомъ, перемфинвъ девять мфстъ, я нашла,

что мъсто "бонны въ домъ" совсъмъ не по мнъ, и стала публиковать въ газетъ, что ищу "demi-place". Я хотъла хоть засыпать и просыпаться у себя. Хоть минуту быть "дома", одной, не видъть противныхъ мнъ рожъ. "Все же я меньше буду ихъ ненавидъть". Мнъ становилось страшно, до чего я начинала ненавидъть русскихъ дътей, изъ которыхъ выйдутъ такіе же воть, какъ ихъ отцы! Les demi-places! Сколько я ихъ перемънила. Бъгать изъ одного конца города въ другой: тамъ "гулять съ дътьми" 2 часа въ день-8 рублей въ мъсяцъ, здъсь "играть съ дътьми" три часа въ день - 7 рублей въ мъсяцъ. Въ концъ-концовъ квартирная хозяйка, которая не даетъ даже всего, что обязана, потому что ей всегда не въ срокъ заплачено, и со страхомъ, съ отчаяніемъ разглядыванье своихъ ботинокъ по вечерамъ. Онъ лопаются! Ложиться спать съ голоднымъ желудкомъ и плакать, глядя въ маленькое зеркальце: щеки желтъютъ, лицо худъеть, старъеть, вокругь глазъ темные круги. Или мъсто съ завтракомъ и объдомъ, съ самыми худшими кусками за завтракомъ и объдомъ. Весь день съ дътьми, - и 15-20 рублей въ мъсяцъ. Только-только заплатить за квартиру и прачкъ. А отъ васъ требують, чтобы вы были даже "мило" одъты: "У насъ бываютъ люди!" На что толкають эти порядочные люди молодую дъвушку, которая имъла несчастье попасть въ ихъ домъ? Какимъ трудомъ должна заниматься дъвушка съ 9 часовъ вечера до 10 утра, чтобъ быть "одътой"? Развъ онъ не толкають, какъ толкаеть меня теперь мой Поль, и не говорять: "Достань! Я не могу показываться съ тобой въ плохомъ костюмъ!" Да, но въ такомъ случат оставьте мнт мон рабочіе часы! А то

говорять: "Mademoise'le, у насъ сегодня гости, вы поможете по хозяйству. Останьтесь вечеромъ. Вы разольете гостямъ чай!" И еще вздыхають, добрые люди: "Ахъ, бъдной дъвушкъ все-таки развлеченье! Посмотритъ, какъ танцуютъ". А эти гости! Вотъ еще типы! Люди, которые подбъгаютъ къ вамъ, берутъ чай и поворачивають спины всегда прежде, чемь сказать: "merci". Сначала отвернется, а потомъ ужъ вспомнитъ сказать. Нътъ ничего хуже "въжливости" русскихъ. А здъсь они не просять, а умоляють кучера: "Je vous en prie, monsieur le cocher, s'il vous plaît". A тамъ! Дома они хамы, а потому за границей обжираются въжливостью. Это для нихъ диковинное блюдо. И замътьте, mesdames, чъмъ больше ползаетъ у вашихъ ногъ здъсь русскій, тэмъ, значитъ, онъ тамъ, дома, важнее, грубъе, наглъе, любитъ накричать, разнести, -- "ррраспюшить", какъ они говорятъ.

— Ils sont très, très polis, les polissons russes, avec les p'tites femmes! — раздались восклицанія кругомъ. — Аh, c'est vrai!

И сидъвшія кругомъ женщины принялись вспоминать важныхъ и солидныхъ русскихъ и разсказывать про различныя "интимности", въ которыя тъ пускались.

Становилось немножко тошно.

— Ахъ, свинья! Ахъ, свинья! — восклицали женинны съ хохотомъ.

А моя разсказчица задумалась, какъ будто вспоминая что-то трудное, наконецъ, очевидно, вспомнила во всъхъ подробностяхъ, расхохоталась на весь залъ и воскликнула:

— Ну, настоящія свиньи!

И продолжала, когда хохотъ и воспоминанія утихли: - А тъ гости, которые разговаривають съ mademoiselle, разливающей чай: "Такая хорошенькая, и вдругь въ гувернанткахъ! Почему вы не пойдете въ оперетку? Вы, должно-быть, прелестно сложены! Вы рождены совсъмъ не для того!" Нечего сказать, хорошія вещи говорятся въ этихъ, такъ называемыхъ, "порядочныхъ домахъ". И это всъ: и старые и молодые. Изъ поколвнія въ поколвніе растеть, умираеть, валится, гніеть и снова вырастаеть та же мерзость! И я ненавидъла этихъ дътей, изъ которыхъ растетъ все то же, все то же. Эти молодые побъги кропивы и бурьяна. "Будемъ искать мъста компаньонки или лектрисы! сказала я себъ. А вы знаете, что значить искать мъсто компаньонки или лектрисы въ Россіи! Право, они какіе-то тамъ помъшанные! Они только объ одномъ и думаютъ! Въ тотъ же день, какъ вы печатаете такое объявленіе, вы получаете 20 писемъ. Я была честная довушка, и отъ предложеній, которыя мнф дфлались, я бфжала, чувствуя, что у меня подкащиваются ноги, боясь, что меня вотъ-вотъ схватятъ. Наконецъ, старикъ. Старикъ, не встающій съ кресла. Разбитый параличомъ, умирающій, одинокій, тоскующій одинъ въ своемъ креслъ, всъми забытый, -- одинъ предъ лицомъ подступающей смерти. "Вы мнв, старику, будете читать, дитя мое, — сказалъ онъ, — и время не будетъ тянуться такъ ужасно". И въ первый же день далъ мнъ книгу, читая которую покраснёль бы пожарный: "Прочтите мнъ вслухъ!" О, эти русскіе! У нихъ на три четверти татарская кровь течеть въ жилахъ. Плохо даже нарисованной женской ноги они не могутъ видъть безъ того, чтобъ въ ихъ татарской крови не проснулось

инстинктовъ. Тогда какъ мы ко многому такому относимся просто съ веселымъ смъхомъ. Но я чувствовала смущеніе, когда читала вслухъ такія вещи. "Чего жъ вы краснъете? Чего вы краснъете? — останавливалъ меня старикъ. - А, вы понимаете, въ чемъ дъло?" Это его забавляло, это ему доставляло удовольствіе. Онъ иногда прерывалъ меня на такихъ мъстахъ, гдъ слезы душили мив горло, и я чувствовала, что все во мив оскорблено. "А вы знаете, дитя мое, что это?" И онъ принимался объяснять пространно, подробно,-и когда я выскакивала почти въ испугъ, онъ тянулся достать мою руку: "Что съ вами, дитя мое? Что съ вами?... Что?.. Что?.. Что?.. И никогда онъ не былъ больше похожъ на мертвеца, мнъ казалось, что онъ разлагается въ эти минуты. Никогда онъ не былъ такъ близокъ къ смерти. Я боялась, вотъ-вотъ захлебнется слюнями, вотъ-вотъ задохнется, у него разорвется сердце. Я чувствовала ужасъ, слышала трупный запахъ. Я не помню, какъ выбъжала во время одного такого припадка Я закричала горничной: "Онъ умираетъ! Онъ умираетъ!" Я бъжала съ лъстницы, словно меня догоняль покойникь. "Мёсто у дамы! Мёсто у дамы!" мечтала я. И попала къ почтеннъйшей дамъ, отличнъйшей фамиліи, одинокой, старой, патронессъ, спириткъ, состоявшей въ какихъ-то необыкновенно благочестивыхъ обществахъ. У нея въ домъ было такъ тихо, что даже залетавшая случайно муха, и та переставала жужжать, испуганная тишиной. Иногда въ огромныхъ комнатахъ что-то стукало, гдъ-нибудь скриивль или трескался какъ зеркало натертый паркетъ,и старуха говорила тихо и прислушиваясь: "Это духи". Мнъ хотълось въ такія минуты кричать отъ страха.

Она заставляла меня читать ей благочестивыя книги, требовала, чтобы я ходила вся въ черномъ, дълала выговоры: "Что это у васъ глаза какъ блестятъ сегодня, дитя мое? Что это вы краснье, чымь всегда?"и цълыми часами увъщавала меня: "Молитесь, умоляйте Господа, за гръхи умоляйте". Умолять милаго, добраго Бога, Который съ улыбкой смотритъ на насъ, маленькихъ людей, какъ мы здёсь карабкаемся,-и беретъ насъ къ Себъ, когда мы устаемъ, — умолять Его мнъ, когда я знаю, что и гръховъ-то у меня нътъ,какое кощунство! Мет было противно это лицемтріе, которое заставляеть во всемь видеть только мерзость н гадость, которое заставляеть подозръвать гнусные гръхи и преступленія въ честной дъвушкъ, видъть гнусность въ румянив, грвхи въ блескъ юныхъ глазъ. Я бросила эту мерзкую, съ грязнымъ воображениемъ старуху. Пусть спасается одна! Воть бы ее поженить съ предыдущимъ старикомъ! И я, право, не знаю, какъ это случилось. Ханжество ли меня толкнуло въ другую сторону, старикъ ли своими грязными разговорами пробудиль во мит дремавшую чувственность, возрасть ли требовалъ, --- но только я сама не помню, какъ отвъчала поцълуемъ на поцълуй пожилого вдовца, моего новаго хозяина, поцълуемъ на поцълуй, когда мнъ хотълось въ эту минуту искусать его противное, налившееся кровью лицо. Это быль вдовець, къ которому я поступила гувернанткою дочери. Я забеременъла. Онъ нанялъ мнъ маленькую квартирку и ъздилъ каждый день. "Это интересно!" говориль онъ. Ахъ, татары! Вы говорите, что французы испорчены. Но это маленькія шалости въ сравненіи съ татарскимъ необузданнымъ развратомъ, который живетъ у васъ въ

крови. Когда я родила, миъ дали 100 рублей и сказали, чтобы я убиралась, куда угодно. "Ну, нътъ, такъ съ матерями не поступаютъ!" сказала я; подкараулила моего вдовца и плеснула ему въ лицо сърной кислотой. Въ лицо не попала, немножко обожгла шею и воротничокъ,—но и за это миъ предложили убраться изъ города!

- Mais non! Qu'est ce qu'elle parle!
- Она болтаетъ глупости. Какъ? Мать?—закричали кругомъ.

Онъ слушали со смъхомъ, какъ обольщали честную дъвушку, но когда дъло зашло о поступкъ надъ матерью, у нихъ вырвался крикъ, крикъ изъ сердца.

— Ну, да! Ну, да! Мнъ предложили убраться изъ города! Чего вы кричите, mesdames! Предложили, потому что это былъ солидный, извъстный въ городъ человъкъ, пользовавшійся общимъ уваженіемъ! Потому что оказалось, что я шантажистка! Что я желаю сорвать денегъ на неизвъстно отъ кого прижитаго ребенка! Мнъ предложили убраться изъ города, да еще пояснили, что мит дълаютъ благодъяніе. Могли бы отдать подъ судъ. Я требовала суда. Мив отвъчали: "Еще бы, вамъ этого-то и нужно! Вы скандаломъ и грозите!" Въ концъ-концовъ, меня убъждали, что мнъ дълають доброе дъло. Во всъхъ странахъ дълаются несправедливости, но нигдъ при этомъ столько не смъются, сколько у васъ! Я должна была вхать въ другой городъ и тамъ попала въ "домъ", потому что хозяинъ дома заплатилъ за меня долгъ въ гостиницъ. Кажется, самъ хозяннъ гостиницы мнъ все это и устроилъ, -- конечно, не лично, -- о, это вполнъ респектабельный господинъ! Пользующійся большимъ уваженіемъ!

Но черезъ своихъ служащихъ, — въдь не терять же ему квартирныя деньги. Если будешь терять квартирныя деньги, потеряещь въ концъ-концовъ и респектабельность и уваженіе! Если прежде я знала только, какъ вы дълаете гадости, то на новомъ мъстъ я видъла достаточно, какъ вы каетесь. Странное мъсто для покаяній, -- но это такъ! Трактиръ, кабакъ позорный домъ, это мъста, куда вы вздите больше для души", чъмъ для тъла. Вы напиваетесь, въ пьяномъ видъ дълаетесь Гамлетами, рыдаете, бъете себя кулаками въ грудь и каетесь. Удивительная страна покаяній! Вамъ нужно зал'взть въ грязь по уши и рев'вть. Вы называете это "совъстью", я называю алкоголизмомъ. Въ концъ-концовъ этотъ домъ, а въ особениости эти кающіеся пьяные, у которыхъ жесты удивительно расходились со словами, мнъ ужасно надовли. Мнъ надобло разсказывать три раза въ вечеръ, какъ дошла я до жизни такой, — и когда одинъ кающійся художникъ предложилъ мнъ пойти къ нему, я пошла съ наслажденіемъ. Это быль славный малый и большой пьяпица. Шлаковъ. Вы не слыхали о такомъ художникъ?

- Нътъ.
- О немъ никто не слыхалъ. Въ этомъ и было его несчастье. Неудачникъ, рисовалъ онъ прескверно, а потому считалъ себя жертвой интригъ. Онъ работалъ въ какомъ-то иллюстрированномъ журналъ, гдъ надъ его рисунками издъвались. Поэтому онъ всегда, когда получалъ деньги, напивался пьянъ. Художниковъ онъ всъхъ считалъ "подлецами", начиная съ Рафаэля. Съ Рафаэлемъ у него были личности. Стоило упомянуть при немъ о Рафаэлъ, какъ онъ выходилъ

изъ себя, шипълъ, хрипълъ, стучалъ кулакомъ по столу: "Рафаэлишка! Подлецъ! Подлипало! Безмозглая дрянь! Бездарность! Шарлатанъ! Папъ племянникомъ приходился, потому и карьеру сдёлалъ". Въ пьяномъ видъ онъ быль величественъ. Садился развалясь, приказываль зажечь передъ нимъ свъчи, а мнъ на колъняхъ стоять и въ ноги кланяться. "Ты съ къмъ, дрянь, живешь?-кричаль.-Со Шлаковымъ живешь! Да знаешь ли ты, тварь, что Шлакову памятники будуть ставить? Шлаковскіе рисунки будуть дороже всвхъ ихъ холстовъ стоить! Шлаковъ карандашный набросокъ сдълаетъ, -- искусство! И ты съ нимъ живешь! Ты съ нимъ живешь! А? Откуда тебя Шлаковъ вытащиль? Изъ грязи тебя Шлаковъ вытащиль! Безсмертье тебф даруетъ. О тебф, какъ о Фарнаринкф подлой Рафаэлевской, пока міръ стоить, вспоминать будуть! Со Шлаковымъ именемъ ты связана, тварь! Кланяйся, дрянь, Шлакову въ ноги! Цёлуй мои руки! Обливай ихъ слезами благодарности! Великъ Шлаковъ! Что эта рука дълаетъ?" А я должна отвъчать: "Рисуеть!"-, А что съ ней за это сдълать нужно?" А я должна отвъчать: "Цъловать ее надо!" А онъ говорить: "Врешь, дура! Отрубить эту руку нужно, чтобъ не рисовала. Потому что никто не понимаетъ. Непонятенъ имъ Шлаковъ!" Да меня кулакомъ по головъ, а самъ въ слезы. Такъ и терпъла, -- всть нужно. Пока Шлакова разъ домой съ разбитой головой изъ пивной не принесли. Черезъ два дня и померъ.

- Mais comment donc!—раздались недовольные голоса.—Да за что же его?
- A за то, что подошель къ чужому столу. У нихъ, у русскихъ, это такъ. Я въ своихъ скитаніяхъ

и въ загородномъ ресторанъ у нихъ пъвицей была п ихъ нравы знаю. У нихъ особое право-"право своего стола"-есть. Подходить человъкъ къ чужому столу, его сейчасъ за это начинаютъ бить по головъ бутылками. "Зачъмъ къ чужому столу подходишь? Мы сидимъ у своего стола". И всъ съ этимъ согласны: "Совершенно върно, они сидъли у своего стола, а онъ подошель къ чужому столу, --его и надо бутылками по головъ!" Ils sont drôles, les russes,—savez vous. Съ удовольствіемъ бы къ нимъ профхалась, чтобъ посмфяться. Мой Шлаковъ силфлъ въ пивной пьяный А за сосъднимъ столомъ какая-то компанія сидъла, ниво пила и иллюстрированные журналы смотръла. Шлаковъ и не вытерпълъ. Подошелъ: "Господа! Что вы дълаете? Остановитесь, ради Бога! Что вы смотрите! Вы вотъ что смотрите! Вотъ это рисунокъ. Это - Шлаковъ". А они его за это по головъ бутылками били, пока кровь не пошла. Черепъ въ трехъ мъстахъ быль проломлень. Такъ Шлаковъ и умеръ. Mazette! Осталась я босикомъ среди улицы. Тутъ было все! Наконецъ охватила меня тоска по Парижу. Въ Парижъ! Въ Парижъ! Я купца обокрала и въ Парижъ.

Всъ захохотали.

- Какъ купца? А въ тюрьму?
- Отъ тюрьмы меня голый человъкъ спасъ. Жила я въ меблированныхъ комнатахъ. О, были меблированныя комнаты! Мое почтенье! Женщины, сутенеры,—и черезъ стънку отъ меня голый человъкъ жилъ. Просто молодой человъкъ. Не могъ найти себъ мъста. И до того издержался, что ему выйти не въ чъмъ было. Такъ дома и сидълъ и все арію Мефистофеля о золотомъ тельцъ пълъ. За это его "голымъ человъкомъ"

и звали. Ствика была тоненькая, все слышно. Привезла я къ себъ купца пьянаго, да пока онъ вздремнулъ, денегъ изъ бумажника и вынула. Но русскій купецъ, когда пьянъ, онъ все-таки чувствуетъ, если до его бумажника дотрогиваются. Хотя бы бумажникъ лежаль въ другомъ концъ комнаты. Деньги я успъла спрятать, но купецъ вскочилъ. "Ты что это? Воровать?" И началъ меня купецъ мучить. Схватилъ меня за руки: "За полиціей я, -- говорить, -- не ношлю, нотому что это мив не идеть. Я человвкъ семейный и солидный. А своими средствами я допытаюсь". Крутить мий руки, такъ что у меня глаза подълобъ выльзають: "Говори, гдъ деньги!" А я молчу, -- "помучить, -- думаю, -- а я все-таки въ Парижъ убду, въдь не убьеть же!" А онъ сильнъй. Пытка такая, что ужасъ. Закусила губы, чтобъ не крикнуть, -- войдутъ въ чемъ дъло-узнаютъ и деньги отнимутъ. А купецъ говорить: "Воть какъ! Хорошо же!" Держить меня за выкрученныя руки и началъ меня между лопатками изо всёхъ силъ бить: "Этого, -- говоритъ, -- дивертисмента никто не выдерживаетъ". Да тутъ, слава Богу, голый человъкъ, — онъ всегда дома былъ, — вступился. Какъ въ ствику забарабанитъ: "Что тамъ, говоритъ, -- за безобразія творятся? Вотъ сейчасъ, нанталоны надёну, --приду! "Купецъ и испугался: "Вотъ какъ, -- говоритъ, -- у васъ тутъ цълое гнъздо разбойничье! Не зналъ, куда попалъ". Да поскоръе вонъ, да поскоръе вонъ. А купецъ былъ милліонеръ, и украла я у него сто рублей, и онъ передъ этимъ со мной же триста пропилъ! Я голаго человъка благодарить потомъ пошла. Мы даже и знакомы не были. Предложила ему 25 рублей, но онъ отстранилъ. "Вы,—

говоритъ, — съ ума сошли! Жамэ! А вотъ вечеркомъ когда зайдите. Благодаренъ буду!" Встръчаются и между ними настоящіе джентльмены безъ опредъленныхъ занятій! Забавная страна!

Она "хлопнула" послъдній бокалъ шампанскаго и сказала:

— Вотъ вамъ и гувернантка изъ Россіи!

Сквозь спущенныя шторы въ залъ ресторана пробивался бълесоватый утренній свътъ.

Пока длился разсказъ, гарсоны мъняли бутылки. Кругомъ было все сильно выпивши.

- Состарьюсь и повду къ русскимъ въ гувернантки!—съ грустью воскликнула пожилая женщина въ колоссальной шляпъ. — Все лучше, чъмъ въ St-Lazare!
  - Дура! ты думаешь?

Эта встръча вспомнилась мнъ на-дняхъ въ одномъ обществъ, гдъ говорили о московскихъ двухъ эстонкахъ, одной боннъ и одной компаньонкъ, задумавшихъ убійство съ цълью грабежа.

— Не хотъли трудиться!—въ одинъ голосъ восклицали дамы въ отличныхъ платьяхъ.

А гувернантка въ углу разливала чай для гостей.



# Внаменитость.

### Знаменитость.

Онъ какъ бомба влетълъ въ редакцію, схватился объими руками за голову и бросился въ кресло.

- Ради Бога! Спасите ее и меня!
- Что случилось?
- Она хочетъ летъть на воздушномъ шаръ!
- Какъ, на воздушномъ шаръ?!
- Держась зубами за транецію! Будь проклять тоть день и чась, когда ей попалась на глаза газета съ этимъ описаніемъ полета Леоны Даръ! Ей, видите ли, мало славы знаменитой концертной пъвицы, "вънскаго соловья", она желаетъ еще славы неустрашимъйшей акробатки и собирается схватиться за эту славу зубами!
  - Но въдь это сумасшествіе!!!
- А развъ Эмма Андалузи когда-нибудь была здравомыслящей! Развъ вы не читали, какъ въ Мадридъ ее приняли за безумную и засадили въ сумасшедшій домъ?! Вотъ у меня и выръзка изъ мъстныхъ газетъ! Прочитайте! Клянусь, эта женщина введетъ меня въ могилу! Я застрълюсь! Я брошусь съ вашего ужаснаго моста! Я кинусь въ море! Это выше моихъ силъ! Будь проклятъ день и часъ, когда я взялся возить Андалузи кинцертировать по всему свъту! О, ради Бога...
  - Но что же можетъ сдълать редакція?

- Она васъ такъ уважаетъ! Такъ дорожитъ вашимъ мивніемъ! Ваши отзывы, это единственное, что она приказываетъ себъ переводить. О, ради Бога! Отговорите ее отъ этого ужаснаго намъренія летъть, держась зубами за транецію! Вы одинъ можете это сдълать!.. Ради Бога ъдемъ сейчасъ же, она только что кончила дрессировать своего леопарда.
  - Что-о?!
- У этой дикой женщины явилась фантазія сдівлаться также укротительницей звірей. Она выписала себів леопарда! Нась гонять изь гостиницы! Вы понимаете, мы занимаемь маленькій отдівльный корпусь, но все-таки ревь этого чудовища! Она по четыре раза вь день забирается къ нему въ клітку и хлещеть его хлыстомь. Это ужасно! Теперь она кончила свои адскія упражненія, и мы застанемь ее за завтракомь... Конечно, если ею самою не позавтракаль леопардь!

Бъдняга безпомощно развелъ руками.

- Хорошо, я кончу работу и сейчасъ прівду.
- О, какъ мнъ васъ благодарить! Быть-можетъ, коть вы сумъете ее уговорить! Ради всего святого!

Онъ встрътилъ меня въ коридоръ, блъдный и испуганный.

- Ради Бога, подождите одну минуту! Эта сумасшедшая выдумала новую забаву. Она нарисовала на двери кругъ и стръляеть въ цъль изъ пистолета. Ей, видите ли, хочется стрълять, какъ Вильгельмъ Телль. А я изъ-за этого долженъ успъвать войти въ дверь между моментомъ, когда она цълитъ, и моментомъ, когда она выстрълитъ.
- Д-да, при такихъ условіяхъ довольно неудобно входить.

— Но постойте, я ей сейчасъ скажу, что это вы! Ради васъ, быть-можетъ, она сдълаетъ исключение и прекратитъ на нъсколько минутъ свои дьявольския забавы!

Онъ подошелъ къ двери и постучалъ.

За дверью грянуль выстръль.

Онъ отскочилъ.

- Чортъ знаетъ, тутъ заплатишь за концерты жизнью. Синьора Андалузи, это г. Х, критикъ, котораго вы всегда читаете? Ради Бога, прекратите вашу дьявольскую баталію, хоть для того, чтобы онъ могъ войти и засвидътельствовать вамъ свое почтеніе!
- А! это г. Х! Я рада его видъть! Пусть войдеть! Она стояла посреди комнаты, въ трико тълеснаго цвъта, какъ гимнастка, съ пистолетомъ въ рукахъ.

Комната была полна пороховымъ дымомъ, за перегородкой ревѣлъ леопардъ. Съ потолка спускалась транеція.

- A, m-r X! Я рада васъ видъть! А я немножко стръляла! Не правда ли, я недурно попадаю въ цъль? Въ серединъ кружка застряло пъсколько пуль.
- Да, но вашъ импрессаріо говоритъ, что вы собираетесь сдълаться еще и воздухоплавательницей!

А, m-r Ракошъ ужъ успълъ пожаловаться! Да, да, я лечу.

- Держась зубами за трапецію! Великая и знаменитая концертная пъвица...
- Мнѣ надовло быть знаменитой пѣвицей, я хочу быть знаменитой гимнасткой. Знаменитыхъ пѣвицъ много, —Леона Даръ одна! Это меня бѣситъ! Я не хочу, чтобъ она была самой мужественной изъ женщинъ. Я лечу точно такъ же. Къ тому же это вовсе не такъ трудно. Я ужъ научилась висѣть по десяти

минуть, держась зубами за трапецію. Не все ли равно висѣть въ комнатѣ или на воздухѣ. Хотите, я покажу вамъ, какъ это дѣлается. Ракошъ, стулъ!

- Ради Бога, синьорина! Я врагь сильныхъ ощущеній!
- Если вы бонтесь смотръть,—не нужно! А жаль! Вы убъдились бы, что Эмма Андалузи такая же великолъпная гимнастка, какъ и пъвица!
  - Поговоримъ лучше о вашемъ концертъ.
  - Я не пою.
- Господи, полный сборъ! взвылъ въ углу m-r. Ракошъ.
- Мит итть до этого дтла. Я не пою, потому что у меня есть дтла поважитье: я собираюсь летть, наконець, мой леопардъ становится все болте и болте свиртнымъ. Кромт того, мит нужно стртлять.
- Синьорина! Но ради вашего несчастнаго имрессаріо, ради публики, кеторая такъ жаждетъ слышать знаменитую Эмму Андалузи...

Она задумалась:

— Ради импрессаріо ничего. Для публики все. Я пою. Вы знаете мою слабую струнку. Это мой богь, мой повелитель, идоль, которому я молюсь! Публика мнѣ замѣняеть все,—семью, любимаго человѣка. Если бъ публика потребовала этого, я пожертвовала бы для нея все,—себя, свое тѣло. Если бъ публикѣ это доставило удовольствіе, — я умерла бы на ея глазахъ въ пыткахъ инквизиціи.

Только подъ звуки ея аплодисментовъ!

Публика требуетъ, — Эмма Андалузи поетъ!

На слъдующій день всь газеты возвъстили о новыхъ причудахъ знаменитой Эммы Андалузи.

Абонементъ на три копцерта впередъ по сумасшедшимъ цънамъ былъ разобранъ.

Наступилъ день концерта.

8 часовъ. Залъ благороднаго собранія переполненъ, а Эммы Андалузи все еще нътъ.

Четверть девятаго. Публика волнуется.

Двадцать минутъ девятаго.

Наконецъ-то!

Появляется ея секретарь съ драгоъциностями и подковой. Эмма Андалузи никуда безъ грязной желъзной подковы не ъздитъ.

Камеристка, которая несеть ея Бобби, маленькаго мопса, въ ощейникъ, осыпанномъ крупными брильянтами, два ливрейныхъ лакея съ массой картонокъ и m-r Ракошъ съ бонбоньеркой конфетъ для маленькаго Бобби.

Эмма Андалузи, вся въ перьяхъ, кружевахъ, брильянтахъ, бросается въ кресло и начинаетъ кормить Бобби конфетами.

- Синьорина! Синьорина! умоляюще бормочеть г. Ракошъ, кидаясь на колъни. Пора начинать!
- Ахъ, пойдите вы съ вашимъ пъніемъ! Какъ я могу пъть, когда маленькій Бобби боленъ! Смотрите, онъ не ъстъ даже шоколадныхъ конфетъ!
  - Синьорина!!!

M-г Ракошъ съ умоляющимъ видомъ обращается къ старшинамъ, стоящимъ въ дверяхъ:

— Уговорите хоть вы ее, что пора начинать.

Изъ зала доносятся аплодисменты потерявшей терпъніе публики.

— Публика! Аплодисменты!

Эмма Андалузи кидаетъ мопса на полъ такъ, что тотъ визжитъ.

— Пустите меня къ моей публикъ!

И она съ горящими глазами бъжитъ на эстраду.

Каждая арія, спътая ея звучнымъ, красивымъ груднымъ голосомъ, вызываютъ восторгъ.

Въ антрактахъ старинны разсказывають о сценъ въ уборной.

- ... Но стоило ей услыхать аплодисменты.
- Вотъ это настоящая артистическая натура!
- Это артистка въ душъ, взбалмошная, сумасшедшая, но артистка.

И публика реветь:

— Андалузи!.. Браво... Андалузи!..

Она поетъ безъ конца.

Посылаетъ воздушные поцълуи, смотритъ своими огненными страстными глазами, словно готовая отдаться всей публикъ.

А когда ее засынають цвътами, она хватается за сердце, дрожить, изнемогаеть отъ восторга, отъ счастья, какъ будто отъ страсти любви.

Публика сумасшествуетъ.

По окончаніи концерта я иду въ уборную и еще издали слышу крики, вопли.

Что случилось?

По уборной летаютъ картонки, шляпы, боа изъ перьевъ, ноты, въера, букеты.

Бъдный Ракошъ прижался въ уголкъ весь засынанный цвътами.

Она кидается ко мнв.

— Онъ меня обманулъ! Онъ низко меня обманулъ! Онъ привезъ меня въ Россію! Вообразите, я сейчасъ хо-

тъла ъхать охотиться на медвъдей, —а опъ говоритъ, что здъсь нътъ медвъдей! Значитъ, это не Россія, если нътъ медвъдей! Скажите, гдъ я, накопецъ, въ какой странъ?

- Синьорина, успокойтесь! Медвъди водятся только на съверъ! На югъ медвъдей нътъ!
- О, Боже, эта женщина сведеть меня въ могилу! восклицаеть бъдняга Ракошъ подъ хохотъ поклопниковъ, переполняющихъ коридоръ.

Это произошло случайно.

Я защелъ черезъ нъсколько дней за карточкой и остановился у двери, раздумывая:

— Что дълаетъ теперь почтенная синьорина?

Сидитъ въ клъткъ у леопарда, виситъ зубами на трапеціи или цълитъ изъ пистолета въ ту дверь, въ которую я долженъ войти.

Я хотълъ постучать, какъ вдругь остановился, словно вкопанный.

Это было совствы необычайно.

Кричалъ г. Ракошъ. Эмма Андалузи говорила жалобнымъ голосомъ, дрожавшимъ отъ слезъ.

- Ты должна это сдълать! Понимаешь ты это! Это необходимо для слъдующихъ концертовъ! ревълъ г. Ракошъ.
- Я не могу! Вы понимаете, я больше не могу! рыдала Эмма. Вы заставляете меня ходить въ трико при постороннихъ, этотъ страшпый леопардъ такъ реветъ, что я не могу по ночамъ сомкнуть глазъ, вся дрожу! Каждый разъ, какъ вы стукнете въ дверь, я должна подойти и выстрълить въ середину кружка. Я боюсь, что въ эту минуту отворятъ дверь, и я кого-нибудь убью! У меня дрожатъ руки, когда я только дотронусь

до этого страшнаго оружія, а теперь вы заставляете меня стрълять въ живого человъка! Я не могу убивать! Не могу!

- Какой дьяволь говорить тебѣ объ убійствѣ! Твой пистолеть даже не будеть заряженъ! А я разскажу потомъ журналистамъ, что ты выстрѣлила въ воздухъ изъ великодушія. А онъ, какой же дуракъ станеть стрѣлять въ женщину! Вотъ ты должна послать вызовъ этому рецензенту и объявить, что убъешь его, какъ собаку, если онъ откажется. Это очень эффектно, чортъ побери! И превосходно въ смыслѣ рекламы!
- Боже мой! Боже мой! Да когда же кончится эта мука!
  - Вмъстъ съ твоимъ контрактомъ, не ранъе!
- Вы ставите гробъ въ моей спальнъ и распускаете слухи, будто я сплю въ гробу!

Положимъ, я сплю на матрацѣ на полу, но, понимаете ли, мнѣ страшно быть въ одной комнатѣ съ этимъ страшнымъ гробомъ. Я задыхаюсь отъ порохового дыма, которымъ переполнена комната. Вы заставляете меня играть роль какой - то полоумной! Вы ославили меня такою на весь свѣтъ, на весь свѣтъ! Мнѣ стыдно читать въ газетахъ, что про меня пищутъ! Въ Мадридѣ вы, для вашей проклятой рекламы, на три дня посадили меня въ больницу для душевнобольныхъ. Господи! Господи!

- Амнъ, думаешь, весело выслушивать крикъ такой дъвчонки, какъ ты! По сорока разъ въ день падать передъ такой дрянью на колъни! Получать затрещины и картонки въ голову.
- Но въдь я артистка, наконецъ, чортъ васъ побери! Мнъ надоъли эти комедіи!

- Молчать! Здёсь нёть постороннихь, чтобъ кричать на меня! Много сдёлаешь съ однимъ голосомъ, безъ рекламы, чортъ побери! Мы живемъ въ вёкъ рекламы! Ты помнишь, какъ ты босой дёвчонкой пришла ко мнё, кончивъ вёнскую консерваторію.
- Да, я пришла къ знаменитому Ракошу, а не къ балаганному шарлатану. Я никогда не забуду этой гнусной комедіи. Вы приказали мнѣ кинуться въ Дунай и будто бы спасли.
- Да, чортъ возьми! Публика любитъ все необыкновенное. На слѣдующій же день всѣ газеты писали о томъ, какъ знаменитый Ракошъ спасъ молодую дѣвушку, кинувшуюся изъ-за несчастной любви въ воду, и какъ у нея оказался замѣчательный голосъ. А эта поѣздка по Италіи? По два урока у каждой знаменитости, эти телеграммы, что величайшіе профессора пѣнія разрываютъ тебя на части, отнимаютъ другь у друга!
- Боже! Какая ложь! Какая гнусная ложь! И все это за ничтожные 500 франковъ въ мъсяцъ, изъ которыхъ я 300 отсылаю моей бъдной мамъ и сестрамъ. Онъ тамъ голодаютъ! Моя бъдная, моя милая мама, которую вы чуть-чуть не убили этой гнусной выдумкой про никогда не существовавшаго венгерскаго графа.
- А что жъ? Публика это любитъ, когда знаменитыхъ увозятъ венгерскіе графы. Развъ вамъ что-нибудь сдълалъ этотъ несуществующій графъ?
- Да, но мама, бъдная мама! Она чуть не умерла отъ горя, стыда, позора!
  - Отъ этого не умираютъ!
  - Такіе, какъ вы!

- Потише!
- Вы смъете поднимать на меня руку? И все это за 500 франковъ, на которыхъ вы наживаете десятки тысячъ.
- А что жъ? Развъ ты въ чемъ-пибудь нуждаенься, неблагодарная тварь! У тебя чего-нибудь нътъ...
- Да! Брильянты, которые по контракту принадлежать вамъ же. Платья, бълье, все это ваше. Если я завтра потеряю голосъ, я нищая, безъ всего!
- Не безпокойся! Я возьму антрепризу другого "чуда свъта", а ты останешься у меня въ качествъ... компаньонки!.. Ты миъ продолжаешь правиться!
- О Боже! Не смъйте говорить хоть объ этомъ! Когда я подумаю, къ чему вы меня принуждаете!
  - Контрактъ!
  - Негод...
  - Молчать!

Раздался ударъ, крикъ, я рванулъ дверь, она была заперта.

Я постучаль, и оттуда послышался вопль г. Ракоша:

— Синьора! Ради Бога, прекратите ваши упражненія въ боксь! Вы меня убьете на смерть.

Синьора!

Тихій, злобный шопоть:

— Кричи же: "нътъ, не кончу, пока не нанесу вамъ удара въ грудъ". Тамъ кто-то есть!

И она крикнула громкимъ голосомъ, стараясь подавить рыданія:

— Нътъ, не кончу, пока не нанесу вамъ удара въ грудь!

А черезъ двѣ недѣли я прочиталъ въ парижскихъ газетахъ, что у пріѣхавшей въ Парижъ концертиро-

вать знаменитой Эммы Андалузи явилась новая прихоть.

Она ищетъ славы великой наъздницы и каждый день скачетъ верхомъ черезъ высокіе барьеры.

Кромъ того, она завела себъ большого ручного крокодила, который спить въ ея спальнъ, рядомъ съ "ея знаменитымъ гробомъ".

Бъдная!



## О чемъ говорятъ въ Коломнѣ?

Т. УП. Разсказы

## О чемъ говорять въ Коломнъ?

О дороговизнъ дровъ? О цънахъ на капусту? Гдъ лучше покупать коленкоръ?

#### — Нфтъ!

Reunion у вдовы титулярнаго совътника Акакіевой. Среди присутствующихъ. Назовемъ au hasard:

Матушка дьяконица. Жена клубнаго буфетчика (зеленое платье съ черными кружевами). Вдова падворнаго совътника Перепетуя Егоровна Заковыкина (очень хорошенькій туалеть: платье съ турнюромъ, въ біэ, плиссе и складкахъ) etc.

Въ углу столикъ съ пастилой, монпансье, карамелью и сухарями.

- Мерси!—сказалъ младшій бухгалтеръ изъ склада свъчей, принимая чашку чая.
  - Па де куа! любезно отозвалась хозяйка дома.
  - Пуръ вотръ бонте!

Вдова титулярнаго совътника бросила на него благодарный взглядъ; онъ украшаетъ ея гостиную!

Дьяконица поправила лиловую шаль и сказала:

- А княгиня Андалузова вчера была на двухъ вечерахъ въ одинъ вечеръ: у Надбольскихъ и бароновъ Пштъ!
  - Эскэ сэ жюсть?—удивился младшій бухгалтеръ.

- Это знаютъ всѣ, кто слѣдитъ за свѣтской хроникой!—пожала плечами жена клубнаго буфетчика.— Я читала объ этомъ въ газетахъ!
- Да, но я не узнаю за послъднее время княгини Андалузовой!—продолжала дьяконица.—Гдъ ея вкусъ? Она была въ свътломъ туалетъ, отдъланномъ брюссельскими кружевами.
- Брюссельскія кружева нынче не въ модѣ! замѣтила вдова надворнаго совѣтника, поправляя турнюръ.
- То же говорю и я!—взволнованно воскликнула дьяконица.

А мъстная просвирня добавила со своей стороны:

- Знать, князь не очень-то раскошеливается!
- Онъ всегда быль скупъ! Всегда!—почти съ ужасомъ воскликнула хозяйка.

На что матушка дьяконица замътила съ тонкой улыбкой:

-- Ну, а чего же смотрить графъ?

И всѣ опустили глаза, улыбаясь тонко и ядовито, а хозяйка дома поспѣшила даже замѣтить:

— Господа, перемънимъ разговоръ!

Общество было шокировано поведеніемъ большого свъта.

- Графъ? Который это графъ?—спросилъ молодой столоначальникъ.
- Когда въ нашемъ обществъ говорятъ о графъ, это значитъ: графъ Атлантъевъ! строго и наставительно пояснила дъяконица.

И молодой столоначальникъ наклоняетъ голову съ глубокимъ почтеніемъ, какъ вновь посвященный, которому открываютъ тайны ордена.

- У Вандомскихъ вчера опять танцовали подъ рояль!—говорить дьяконица, чтобъ перемънить разговоръ.—Много моледежи! Танцовали раз de quatre, и съ оживленіемъ.
- И при этомъ чуть не случился пожаръ!—огорченно добавляетъ жена клубнаго буфетчика.
- Сапристи!—не можетъ удержаться отъ изумленнаго восклицанія маленькій бухгалтеръ.

И все общество наставительно ръшаетъ:

- Мы всегда говорили, что pas de quatre не доведетъ до добра!
- Но странно, что объ этомъ нѣтъ въ газетахъ! изумляется вдова надворнаго совѣтника. —Ужъ за чѣмъ, за чѣмъ, а за свѣтской жизнью я всегда слѣжу!
- Чтобъ слъдить за свътской жизнью, недостаточно однъхъ газетъ!—величественно роняетъ жена клубнаго буфетчика.—Въ свътъ бываютъ происшествія не для газетъ! Чтобъ все знать, нужны связи.
- Но, ради Бога, раскажите, какъ же это могло случиться? спъшитъ хозяйка прервать ръзкій обороть, который принимаетъ causerie.
- Мужу разсказываль объ этомъ ихъ дворецкіп!— говорить жена клубнаго буфетчика, и все общество почтительно произносить:
  - -- A-a-a!
- Одна изъ свъчей упала на платье графини Ямпольской и...

Жена клубнаго буфетчика разсказываетъ подробно, какъ была испугана "сама m-me Вандомская", какъ кинулся спасать графиню молодой князь Уховертовъ.

Вев подробности, какъ будто горящая свъча упала на нее!

— Лакею отказали отъ мѣста!—заканчиваетъ она повъствованіе.

Разсказъ производитъ сильное впечатлъніе.

- Ахъ, я просто дрожу за бъдную графиню! близка къ обмороку хозяйка дома.
- Ничего!—успокоиваетъ всъхъ разсказчица. -- Графиня не получила обжоговъ!

И общество успоконвается.

— Да,—замъчаетъ по этому поводу дьяконица,—хорошо, что это такъ кончилось! А то было бы непріятно для молодой графини передъ свадьбой.

Извъстіе, которое производить впечатлъніе варыва бомбы среди комнаты.

- Какъ свадьбы? Чьей? Какъ же мы объ этомъ ничего не знали?
- Графиня выходить замужь за князя Реставранскаго!—торжественно говорить дьяконица, кидая уничтожающій взглядь на жену клубнаго буфетчика.—Я знаю это изъ первыхъ рукъ. Отъ племянника моего мужа: онъ дьячкомъ въ церкви конюшеннаго въдомства! Предстоить оглашеніе!
  - -- Кто бы могь этого ожидать!
  - Какой сюрпризъ для всъхъ насъ!
  - А мы прочили ее за барона Иксъ!
  - Parbleu! восклицаетъ маленькій бухгалтеръ.

И они говорять, говорять, говорять объ этомъ міръ, болье далекомъ отъ нихъ, чъмъ солнце отъ земли.

И они тянутся къ этому далекому солнцу, которое ихъ даже не гръетъ, какъ тянутся къ солнцу бъдныя, желтыя, чахлыя маленькія былинки, выросшія въ цвъточномъ горшкъ на окнъ "домика въ Коломнъ".

И они живутъ, эти бъдные духомъ люди, обрывками того, что дойдетъ до нихъ изъ вашихъ салоновъ, точно такъ же, какъ бъдняки украшаютъ себя купленными на старомъ рынкъ тряпками, которыя были когда-то нарядными платьями первыхъ щеголихъ.

Когда васъ упрекають въ пустотъ вашей жизни разные моралисты, не върьте имъ, сударыня, — вы наполняете своей пустотой жизнь этихъ бъдныхъ людей. Право, вы дълаете добра больше, чъмъ знаете.

Въ ту минуту, когда вы подаете, сударыня, маленькую чашечку чая молодому дипломату, ароматъ этого чая доносится до Коломны и щекочетъ ноздри просвирни.

Не курьезно ли созданъ свътъ?

Свъчка, упавшая на ваше платье, заставляетъ испуганно вскрикивать коломенскую мъщанку.

И большой свътъ необходимъ, чтобъ было о чемъ говорить маленькому.



# УБІЙСТВО.

## Убійство.

Это было въ тропикахъ, гдъ и безъ того кровь вспыхиваетъ какъ спиртъ. А тутъ еще эта парочка-

Болъе невъроятной пары нельзя себъ даже и вообразить.

Онъ, отъ котораго въетъ могилой. И она, съ наружностью вакханки, полная жизни, страсти, гръха.

Они были всегда вмъстъ, всегда неразлучны. Это было какое-то безумье любви.

Поздно вечеромъ, когда небо казалось убраннымъ кружевомъ изъ крупныхъ брильянтовъ и словно отъ страсти вспыхивала и загоралась голубыми огнями вода, ихъ можно было видъть на "променадъ-дэкъ", въ отдаленномъ углу, какъ двухъ влюбленныхъ.

Они летали рядомъ въ лонгшезахъ,—онъ, закрытый пледомъ, изъ-подъ котораго выдавались острыя очертанья его тъла, словно покрытый трупъ. И она, прильнувшая къ нему, нашоптывающая ему что-то, на что онъ отвъчалъ мучительнымъ кашлемъ чахоточнаго, въ послъднемъ градусъ болъзни.

По утрамъ онъ являлся въ. "смокингъ-румъ", разбитый, съ землистымъ цвътомъ лица, съ провалившимися глазами. Съ видомъ въ конецъ измученнаго человъка падалъ въ кресло и смотрълъ измученнымъ взглядомъ, полнымъ страданья.

А черезъ иять минутъ являлся "бой":

— Леди проситъ васъ въ "сосіалль-холлъ".

Или на спардэкъ.

Онь таяль на нашихъ глазахъ, таяль какъ свъчка, которую поставили около жарко растопленнаго камина.

— Врядъ ли мы довеземъ его до Гонолулу,—говорилъ нашъ пароходный докторъ:—это невозможно!

И улыбался, говоря эти грустныя слова.

— Это невозможно!

Какъ-то разъ—это было въ чудное тропическое утро, теплое, мягкое и нъжное—я подмътилъ странный взглядъ, брошенный имъ на красавицу-жену.

Мѣ сидѣли вмѣстѣ на променадъ-дэкѣ, когда появилась она, свѣтлая, какъ утро, прекрасная, какъ весна, еще болѣе очаровательная въ своемъ утреннемъ туалетѣ.

— А, вотъ вы гдъ? Спрятались здъсь? А я ищу васъ по всему пароходу, посылала въ смокингъ-румъ...

И она подходила къ нему, улыбаясь, съ нъжнымъ взглядомъ.

А онъ смотрълъ на нее съ ненавистью, съ ужасомъ, словно къ нему приближалось чудовище.

Мы вмъстъ оставались двъ недъли на Сандвичевыхъ островахъ, и, право, среди этой опьяняющей обстановки знойныхъ дней, душныхъ ночей, воздухъ, напоенный запахомъ пальмъ и цвътовъ, среди пънья птицъ и звона гитаръ по вечерамъ,—нельзя было не завидовать этому полутрупу, въ который почему-то такъ безумно была влюблена такая женщина.

Однажды я поймаль ихъ вмъстъ на морскихъ купаньяхъ, въ бесъдкъ изъ розъ,—ее, только что вышедшую изъ воды, въ купальномъ костюмъ, прилипшемъ къ ея тълу, какъ трико, — и его, даже здъсь кутавшагося въ драповое пальто.

— Вы убиваете меня!—говорилъ онъ, и въ голосъ его слышалось столько страданья.

А она съла къ нему на колъна и что-то зашептала, отъ чего вспыхнули ея щеки,—обнявъ его своею полною, влажною отъ морской воды рукой, близко наклонившись къ его уху.

Жизнь и смерть... Другого имени не было этому контрасту.

Мы шли на одномъ пароходъ и отъ Гонолулу до Санъ-Франциско.

— Тамъ мы проведемъ весну! — сказала она мнъ какъ-то за объдомъ. — Мой мужъ не совсъмъ здоровъ, у него бронхитъ. И докторъ ему велълъ житъ среди въчной весны. Вотъ мы и ъздимъ въ погоиъ за весной!

И она разсмъялась, бросая на мужа взглядъ, полный любви.

Онъ посмотрълъ на нее съ такимъ ужасомъ, съ такимъ страданьемъ.

— Да, да! Не спорь, ты долженъ жить среди вѣчной весны. Такъ сказалъ докторъ... Вообразите, мой мужъ не любитъ весны. Не забавно?

И она снова расхохоталась, но на этотъ разъ въ ея смъхъ мнъ послышалось что-то злое, насмъшливое.

Однажды мы встрътились съ нимъ на спардэкъ-Мы были вдвоемъ. Опъ оглянулся кругомъ, торопливо вынулъ изъ кармана свертокъ какихъ-то бумагъ и дрожащею рукой подалъ его мнъ.

- Вы въдь литераторъ?
- Да.

— Вотъ, вотъ. Возьмите это. Вамъ пригодится. Вы узнаете, какія преступленія творятся на свътъ. Возьмите! Только не читайте теперь. Потомъ... потомъ... Когда мы разстанемся въ Калифорніи. А теперь прячьте, прячьте... Она...

На трапъ раздавался ея веселый голосъ.

— Вы вотъ гдъ, мой другъ!..

Онъ посмотрълъ на меня своимъ страдальческимъ взглядомъ, словно умоляя сохранить тайну.

— Я... да, я здъсь...

Въ Санъ-Франциско мы разстались, она увезла его въ Los-Angelos, гдѣ въ то время весна была въ полномъ разгарѣ, а я по дорогѣ изъ Санъ-Франциско въ Огдэнъ взялся за бумаги, узнать, что за тайна связываетъ эту женщину съ полутрупомъ.

Это были листки, вырванные, в фроятно, изъ дневника. Въ нихъ было зачеркнуто все, что касалось мелочей, и оставлены только самыя интимныя строки.

"Старикъ Джемсонъ—самый честный и умный докторъ на свътъ. Онъ прямо сказалъ, что у меня не бронхитъ, не эмфизема, а чахотка. Чахотка! У меня все поплыло передъ глазами, когда я отъ него вышелъ. Чахотка! Въ тридцать лътъ выслушать такой приговоръ. Я провелъ нъсколько дней человъка, присужденнаго къ смертной казни. Я плакалъ, и миъ хотълось застрълиться"...

"Это чувство горя, отчаянія, теперь замѣнилось тихою, безконечною грустью. Я освоился съ мыслью о смерти. При мысли о ней я не чувствую ни ужаса ни отчаянія. Если бы ея призракъ пришелъ ко мнѣ,— я не бросился бы бѣжать. Мое сердце только сжимается, и я чувствую страшиую тоску. Природа,

люди, — все дышить на меня грустью. Скоро я не увижу всего этого. Все это будеть, все останется... только исчезну я. И мнѣ жаль разстаться со всѣмъ этимъ. Такъ, вѣроятно, чувствуетъ себя приговоренный къ казни, когда здѣсь онъ освоится съ мыслью, что скоро всему конецъ"...

"Мнъ жаль разставаться съ жизнью,—а что я взяль отъ нея? О Боже! Какъ мнъ хотълось бы не любить,— нътъ,—а быть любимымъ. Въдь я ухожу съ пира, не отвъдавъ самаго лучшаго вина. Быть любимымъ,— какое счастье для всъхъ, а для умирающаго... Пока мы здоровы, мы любимъ, когда мы больны,—намъ необходимо, чтобы насъ любили"...

"Миссъ Лаура Хилль прелестная дъвушка. Какая красота! какое здоровье! Завидно смотръть на нее. И вмъстъ съ тъмъ мнъ такъ хотълось быть ближе къ ней. Мнъ кажется, что отъ одного ея поцълуя я поздоровъю. Когда я, прощаясь, задержалъ ея руку въ своей, я чувствовалъ, какъ отъ этой горячей руки становится теплъе моя холодная рука. Какъ много въ ней жизни, здоровья!"

"Ея мать обнищала, кажется, была авантюристкой... О, Боже, не все ли мнв-то равно, съ какою родней явлюсь я туда... Туда... Туда... А здвсь, здвсь, какія радости здвсь, и я ухожу, не зная лучшихъ. Право, мнв становится даже смвшно: словно ухожу навсегда изъ Дрезденской галлереи, не увидввъ Мадонны Рафаэля! Жизнь! Жизнь! Я хочу радости жизни. Ввдь я не злоупотреблю счастіемъ: какихъ-нибудь два-три года".

"Мать согласилась сейчась же. Дочь вышла, какъ будто разстроенная, она словно плакала. Мать гово-

рить, что это такъ, ничего, что плачутъ всѣ дѣвушки... Можетъ-быть. Буду върить".

"Сегодня я, какъ объщалъ, подписалъ духовное завъщаніе, все въ пользу моей будущей жены. Съ этого я и началъ свое предложеніе. Мать протестовала тогда, но не особенно... О, Боже, какъ все это тяжело! Когда я подписывалъ завъщаніе, мнъ почему-то казалось, будто я подписываю свой смертный приговоръ. Я каждую минуту думаю о смерти. Я хочу любви, какъ пьянства, чтобы забыться и не думать"...

"Давно я не брался за свой дневникъ, гдъ конаюсь въ своихъ душевныхъ ранахъ. Потому что былъ счастливъ, и мнъ было не до анализа, не до дневника. Нътъ! Гдъ жъ это опьянъніе? Я началъ чувствовать себя ужъ не приговореннымъ къ смерти, а трупомъ. Когда она меня цълуетъ, а я держу ее за талью,—я чувствую, какъ она вздрагиваетъ всъмъ тъломъ, словно поцъловала покойника. Долгъ, отвращеніе и ужасъ,—все въ этомъ поцълуъ. Когда я ее ласкаю,—она дрожитъ. Быть-можетъ, отъ гадливости"...

"О Боже! Какая это мука! Какъ счастливы прокаженные, что ихъ удаляютъ отъ здоровыхъ. Видъть отвращение къ себъ, — отвращение, которое хотятъ скрыть и не могутъ. О ужасъ!.."

"А все же я не одинъ. Когда мы больны, когда мы несчастны, — намъ страшнъе всего одиночество. Нуженъ хоть кто-нибудь около. Говорятъ, что при говоренные къ смертной казни часто со слезами прощаются со своимъ тюремщикомъ. Чувствуя себя одинокимъ, можно полюбить даже своего тюремщика. Я все-таки не одинъ. И, право, это отлично на меня дъйствуетъ, я становлюсь даже здоровъе".

"Положительно, я становлюсь здоровъе, особенно съ тъхъ поръ, какъ мы переъхали въ Каиръ. Быть можетъ, старикъ Джемсонъ ошибся, и это не чахотка? Какая же это чахотка, когда кашель почти исчезъ, лихорадка самая незначительная, я много хожу, даже ъздилъ верхомъ!.."

"Какъ пріятно, когда утромъ на тебя взглянеть свъжее лицо. Старый дуракъ враль! Какое счастье сознавать себя здоровымъ"...

"Кажется, я умру не отъ чахотки, а отъ счастья. Лаура... Да что это? Сонъ?"

"Честное слово, я боюсь проснуться. Быть обреченнымъ на смерть, жениться съ отчаянія, оказаться живымъ, здоровымъ, любить и быть любимымъ, такъ любимымъ. Я пошлю Джемсону 500 фунтовъ. Этотъ старый факельщикъ сдёлалъ меня счастливымъ... Какъ это произошло? Я сидълъ и читалъ. Она, въ первый разъ, сама подошла ко мнъ и поцъловала. Я не могъ опомниться отъ удивленія. А она стояла передо мной, словно провинившаяся школьница: "Что же? Развъ я не могу васъ и поцъловать?" Какъ растерянно она сказала это. Я кинулся къ ней и думалъ, что задушу въ объятіяхъ. Какъ она отвъчала на мои поцълуи. Въ ней проснулась женщина. Женщина, которая дремала въ этой дъвушкъ. О, какъ мало мы знаемъ женщинъ, а дъвушекъ такъ и не знаемъ совсъмъ. Мнъ казалось, что все это сонъ, что вотъ-вотъ я проснусь... Я спрашиваю ее, — да что же это? "Всъ дъвушки боятся, — я, быть-можеть, больше, чёмъ другія. Вотъ и все. Я боялась этихъ поцълуевъ. Не знаю почему, но я дрожала. Но вотъ уже нъсколько времени, какъ я чувствую все сильнъе и сильнъе волненіе, думая о

васъ. Какъ часто мић хотћлось кинуться къ вамъ на шею. Но я не рѣшалась. И вотъ сегодия... О, мић кажется, что передо мной открылся новый міръ"...

"О Боже! Какое опьянъніе! Какое безуміе любви! Мы бъжали изъ Капра на востокъ. Намъ не къ чему возвращаться домой. Мы хотимъ быть вдвоемъ. Этого для насъ достаточно. Моя голова горитъ, я самъ опьянълъ, глядя на эту опьянъвшую отъ страсти женщину. Мы стали другими людьми".

"Бомбей мив вредень. Мой бронхить возобновился. Я снова кашляю кровью, чувствую прежнюю слабость, меня бьеть лихорадка. Мы перевхали въ Сингапуръ. Лаура мив сказала: "Я хочу видёть вась здоровымь, а счастливымь вы будете, дёлая счастливою меня. Поймите, что я жить не могу безъ вашихъ ласкъ. Вы виноваты сами, зачёмъ ввели меня въ этотъ рай?"

"О небо! Если Джемсонъ не ошибался? Мою грудь словно разрывають на части. Когда у меня идеть горломь кровь, мит кажется, что я истекаю кровью, и воть-воть упаду мертвый. А она смъется: "Не надо только выходить вечеромъ на воздухъ, мы будемъ проводить вечера дома, вдвоемъ. Пустой бронхитъ! Нельзя быть такимъ трусишкой!" Кто правъ? Она или Джемсонъ?"

"Я чувствую, что умираю... А она, она обезумъла отъ любви. Она клянется, что не можетъ жить безъ монхъ ласкъ. О Боже! Что со мной! Когда она цълуетъ меня, мнъ почему-то представляется индусъ, лежащій въ травъ, умирающій, изъ котораго вампиръ высасываетъ кровь. Мы бъжимъ съ мъста на мъсто, ища въчной весны. Я чувствую, что сгораю въ этомъ кислородъ весны. А она говоритъ: "Докторъ, докторъ

такъ велълъ!" И душитъ меня поцълуями. Она убъетъ меня ими. Я чувствую, какъ съ ними уходитъ моя жизнь. Опять, опять, —этотъ индусъ передъ глазами"...

"Какое подозръніе... Нътъ, нътъ, не можетъ быть"...

"Да, да! Это такъ... Это такъ... Это такъ. Несоминънно. Она убиваетъ меня. Наскучивъ ждать моей смерти, испугавшись, что я могу выздоровъть. Она убиваетъ меня быстро, върно"...

- Да, да! Это върно! Вчера я сказаль ей о моемъ индусь. Она поднялась, блъдная какъ полотно, глядя на меня широко раскрытыми глазами, словно пойманная на мъстъ преступленія. Мнъ казалось, что она готова была задушить меня отъ ужаса. Она повторяла: "Ты такъ думаешь? Ты такъ думаешь? "И вдругъ кинулась ко мпъ: "Это бредъ! это бредъ! Я заставлю забыть о немъ! "И снова началось это безуміе. Я безумно любиль и ненавидълъ ее, боялся и готовъ былъ убить. То забывалъ все, то вдругъ видълъ моего индуса,— онъ лежалъ около, на ковръ... Я видълъ, какъ блъдньетъ его лицо, а гаснущій, полный ужаса, взглядъ смотритъ мнъ прямо въ лицо... "Уйди! Уйди!" шепталъ я, а она безумъла отъ страсти. "Я заставлю тебя забыть объ этомъ страшномъ бредъ".
- Я гибну, гибну, и она дѣлаетъ все, чтобы ускорить мою гибель. Каждое утро она пытливо вглядывается въ мое лицо, словно хочетъ спросить: "Долго ли еще тебѣ остается жить?" И потомъ, словно испугавшись, что долго, спѣшитъ меня прикончить своими поцѣлуями. За этимъ взглядомъ любви и страсти, въглубинѣ этихъ глазъ я читаю ненависть и нетерпѣніе: "Умри!" Теперь она выдумала поѣздку въ Калифорнію. Вѣроятно, это меня убъетъ.

- О Боже! Я чувствую, что задыхаюсь въ соленомъ воздухъ океана, въ этомъ зноъ тропической весны. Я вижу недоумъвающія лица пассажировъ, когда они смотрять на меня и мою жену. Я ясно читаю въ ихъ взглядахъ: "Какой контрастъ! Что это?" Это убійство. И убійца около меня. Убиваетъ меня на глазахъ у всъхъ. И убійство останется нераскрытымъ.
- О, если бъ я могъ бѣжать куда-нибудь съ этихъ Сандвичевыхъ острововъ, отъ этого зноя, воздуха, ласкъ. Но у меня нѣтъ силъ. Я чувствую на своемъ лицѣ вѣяніе могилы, даже среди жары. Мнѣ трудно даже просыпаться. Могила тянетъ меня къ себѣ. Смерть неохотно даетъ пробуждаться и дать еще хоть одинъ день. Я безсиленъ бороться со сномъ, гдѣ же мнѣ бороться со смертью? А она, она помогаетъ смерти.
- Кажется, русскій журналисть, который ѣдеть сь нами оть Іокогамы, видѣль давеча эту сцену вь бесѣдкѣ изъ розъ? Думаль ли онь, что передъ нимъ совершается убійство!

Убиваютъ навърняка, зная, что это убійство останется неразгаданнымъ, неоткрытымъ... А что, если раскрыть это убійство?

Это было черезъ годъ, въ Ментонъ.

Она увидъла меня изъ садика, гдъ сидъла, обложенная подушками, укрытая пледами, кутаясь въ теплую накидку.

— Я васъ узнала сразу. А вы меня не узнали? Нътъ?

Я смотрълъ на эту блъдную женщину, словно съ восковымъ лицомъ, и старался припомнить, гдъ я видълъ эти глаза, похожее на это лицо.

- Меня трудно узнать. Помните путешествіе изъ Іокогамы въ Гонолулу? Двъ недъли на Сандвичевыхъ островахъ? Меня и моего покотнаго мужа?
  - Ви ?!
  - Да, я.

Она закашлялась долгимъ, мучительнымъ кашлемъ, на платкъ появилось алое пятно.

- Воть! То же, что у моего мужа...
- Онъ...
- Умеръ. И оставилъ мнъ въ наслъдство деньги и чахотку...

Ея глаза загорълись злымъ, бъщенымъ огнемъ:

— Онъ заразилъ меня своими поцълуями. Онъ тянетъ теперь меня за собой въ могилу... Это его бользнь,—его призракъ... Онъ не отстаетъ отъ меня, не отстанетъ, пока не задушитъ... "А, ты мечтала о свободъ, о богатствъ"...

Она говорила, какъ въ бреду.

-- Такъ мучайся теперь. Кто мучается больше?.. Одно, одно есть у меня... Я все-таки отомщена... Онъ догадывался, что значили эти поцълуи, онъ мучился передъ смертью... Онъ мучился... мучился...

И глаза ея горъли тъмъ злымъ взглядомъ, который бываетъ только у чахоточныхъ и у женщинъ.

— Мучился... мучился...

У нея хлынула горломъ кровь. Она захрипъла.



Визитъ.

## Визитъ.

(маленькій разсказъ.)

Это было зимнею ночью. Въ стужу. Дулъ ледяной вътеръ.

Въ кабинетъ, — роскошномъ кабинетъ краснаго дерева, — было хорошо. Въ книжныхъ шкапахъ золотомъ сверкали великіе авторы въ великолъпныхъ переплетахъ. Въ богатыхъ рамахъ висъли картины лучшихъ мастеровъ.

Рубинами догорали угли въ каминъ.

Иванъ Ивановичъ, старый литераторъ, редакторъ, сидълъ въ халатъ и грълся у камина.

— На завтра номеръ будетъ недуренъ. Эта статья не понравится министру Иксъ, но придется по вкусу министру Игрекъ. Зато Иксъ получитъ компенсацію: ему понравится другая статья, которая не понравится Игреку. А публика скажетъ: какъ они смѣлы! Въ этомъ состоитъ газетное дѣло!

Иванъ Ивановичъ улыбнулся улыбкой философа или стараго плута.

Онъ всталъ, досталъ въ письменномъ столѣ ключъ, откинулъ пестрый восточный коверъ, висѣвшій въ простѣнкѣ между двумя книжными шкапами,—на одномъ стоялъ бюстъ Бѣлинскаго, на другомъ—Щедрина,—и отперъ вдѣланный въ стѣнѣ несгораемый шкапъ.

Онъ досталь оттуда начки акцій, облигацій, выигрышныхъ билетовъ, денегъ, вкладныхъ квитанцій и съ улыбкой понесъ на кресло передъ каминомъ.

Тихая, радостная минута, которую опъ доставлялъ себъ время отъ времени.

Съ нъжною улыбкой онъ перебиралъ, пересчитывалъ пестрые листы.

— И всъмъ этимъ я обязанъ себъ, — себъ! Только своему таланту!

Гордость, — гордость рабочаго поднималась въ немъ. И благоговъніе охватывало его душу.

— Боже, благодарю Тебя за то, что Ты далъ мий таланть!

Позвонили.

Звонъ, протяжный, долгій, жутко прозвучаль въ нустой квартиръ.

Иванъ Ивановичъ торопливо спряталъ бумаги и деньги, заперъ шкапъ, задернулъ коверъ и бѣгомъ пробѣжалъ къ письменному столу, чтобы спрятать ключъ.

— Должно-быть, кто-нибудь завхаль на огонекъ изъ театра или изъ клуба!

Снова задребезжаль электрическій звонокъ.

Никто не отпиралъ.

— Василій или, по обыкновенію, спить, или, по обыкновенію, сидить въ кухив у сосъдской кухарки.

А отъ звонка одному ночью въ пустой квартиръ становилось все жутче и жутче.

Звонили теперь сильно, отрывисто.

Такъ звонятъ къ доктору, котораго пришли звать къ умирающему.

- Отопру самъ!

Иванъ Ивановичъ запахнулъ мѣховой халатикъ, вышелъ въ передиюю и отперъ дверь, — тяжелую, рѣзную, дубовую дверь.

Черезъ порогъ шагнулъ молодой человъкъ, посинълый, въ одномъ пиджакъ, съ продранными локтями.

Шагнулъ и упалъ на высокій стулъ, стоявшій около двери.

Иванъ Ивановичъ затрясся.

Негодяй... Мерзавецъ... Задушитъ старика какъ котенка.

И даже не найдетъ въ стънъ несгораемаго шкапа. Схватитъ мелочь со стола, какую-нибудь серебряную вещь и завтра же попадется... Мерзавецъ!

Иванъ Ивановичъ, едва держась на ногахъ, спросилъ:

— Что... что вамъ нужно?..

Молодой человъкъ поднялъ на него глаза, страдальческіе и умоляющіе.

— Хоть я и голодный, — не бойтесь меня. Я не могу васъ задушить: у меня окоченъли руки и ноги.

Иванъ Ивановичъ съ изумленіемъ, которое росло и росло, смотрълъ въ лицо молодому человъку.

Гдъ онъ видълъ это лицо?

А онъ знаетъ, знаетъ...

Эти въ лихорадочномъ жару и бреду горящіе глаза. Эти исхудалыя щеки. Заострившілся черты. Бѣлокурые волосы, падающіе на лобъ. Жидкую, рѣденькую, только пробивающуюся бородку.

Даже пиджакъ...

- Кто вы? кто вы?
- Я не ть, у меня н тъ квартиры, я замерзаю. Я литераторъ. Меня н пгд не печатають, н н н г ть.

При словѣ "нитераторъ" бѣшеиство подиялось у Ивана Ивановича.

Такъ бъщенство замъняетъ страхъ, когда мы разглядъли таинственнаго врага, который казался страшнымъ, благодаря таинственности. Который оказался жалкимъ и ничтожнымъ.

- Литераторъ! Который врывается! По ночамъ! Ивану Ивановичу захотълось наказать его. Заставить страдать такъ, какъ онъ самъ только что страдаль.
- A-a! Страсть къ оригинальничанью! A-a! Желаете обратить на себя вниманіе оригинальной выходкой?? Да?
  - Я не ѣлъ. Я замерзалъ.
- Литература не богадъльня, милостивый государь! Не пріють для всъхъ неудачниковъ! Не мъсто кормежки! Не попечительство о неимъющихъ опредъленныхъ занятій.
- Мив это ужъ говорили... Мив это ужъ говорили...
- А у васъ есть талантъ! Да, да? Не правда ли? Огромный, огромный талантъ? Непризнанный? Да? Неоцъненный? И вы врываетесь по почамъ и пугаете... Ну, да, пугаете! Ну, да, пугаете людей! Какъ разбойникъ...
  - Если вы меня выгоните, я замерзну...
- Работать нужно, молодой человъкъ! Работать, а не разбойничать! Какъ же! Таланту все позволительно! Не такъ ли?! Талантъ! Мы, мы работали, работали, милостивый государь!

Иванъ Ивановичъ ударилъ себя въ грудь.

— Голодали, холодали! Но работали-съ! А не полагались на нашъ талантъ! Талантъ! Работой-съ, тру-

домъ-съ прокладывали себѣ путь, — работой-съ, трудомъ-съ добивались всего, что мы имѣемъ-съ. Надо дождаться, чтобъ напечатали,—идите пока мести мостовую, таскать кули. Работайте! И мы работали. И никогда, слышите ли, никогда...

Молодой человъкъ поднялся. Глаза его горъли мольбою и ужасомъ.

— Не гоните меня... Отогръйте... Вспомните... Не было ли съ вами... Когда вы были молоды... начинали... Вы были безъ квартиры и спали на улицъ... зимой... на табуретахъ около воротъ... Дворники гоняли васъ съ мъста на мъсто... и только это спасало васъ отъ замерзанія, отъ смерти... Вы ждали, — въ утренній, предразсвътный часъ, морозъ кръпчалъ, — когда гдънноудь зазвонятъ... Окоченълый вы бъжали на звонъ, вмъшивались въ толпу нищихъ, отогръвались и засыпали во время заутрени гдънибудь въ темномъ уголкъ церкви... А потомъ опять шли на трескучій морозъ... И вотъ однажды, не вытерпъвъ, не выдержавъ, — не позвонились ли вы у подъъзда извъстнаго литератора? Позвонились потому только, что у него былъ огонь...

Иванъ Ивановичъ задрожалъ.

— Откуда... откуда... откуда... А!

Онъ узналъ это лицо.

— Да это мое лицо... Это я... Я самъ сорокъ лътъ назадъ... И тотъ... тотъ ниджакъ, который я потомъ продалъ татарину...

У него подкосились ноги. Онъ упалъ на стулъ.

А молодой человъкъ, низко наклонившись къ нему, продолжалъ:

— Вы вошли тогда, какъ вошелъ я,—и испугали... Если бы онъ васъ выгналъ тогда, вы бы замерэли... А онъ отогръль васъ... Вы поминте, посадилъ къ камину... Вы весь дрожали... вы весь окоченъли... Вы помните, какъ онъ пошелъ и самъ принесъ вамъ поъсть... Вы помните его смъхъ? "Ничего, молодой человъкъ, то ли бываетъ?"... Вы помните, какъ вы чувствовали себя маленькимъ ребенкомъ, потеряннымъ и найденнымъ, прижатымъ къ груди матери... И какъ вы заснули въ креслъ передъ каминомъ, съ лицомъ, мокрымъ отъ слезъ... Вы поминте? Вы помните?.. Всъмъ, — всъмъ, что вы имъете, вотъ этимъ всъмъ и вашей жизнью вы обязаны ему! Вы замерэли бы, если бъ онъ васъ выгналъ тогда!

Въ голосъ молодого человъка зазвенъли слезы, послышались всхлипыванія, рыданія.

Онъ стоялъ, облокотившись о притолоку, безсильный, готовый упасть, безпомощный, и рыдалъ.

— Во имя того... того вечера... Въ память того человъка, сдълайте для меня...

Иванъ Ивановичъ сидълъ мрачный, подавленный, угрюмый.

Онъ всталъ и подошелъ къ двери.

На лицъ его было страданіе.

Онъ отперъ дверь и толкнулъ молодого человъка.

— Илите!

Онъ толкпулъ его сильнъе и вытолкнулъ:

— Идите и лучше замерзайте! А то...

Иванъ Ивановичъ, дрожа, захлопнулъ дверь, изъ которой несло ледянымъ вътромъ.

— Вы вырастете такимъ же, какъ я!



## НОЧЬ.

### Ночь.

Я не хочу лгать.

Я не стану проповъдывать, какъ голодные моралисты, что въ этой "буржуазной", сытой и довольной жизни нътъ ничего корошаго. Я не буду увърять вась, что задыхаюсь отъ дыма хорошей сигары, что старое вино, хорошія устрицы и свъжая икра возбуждають мое отвращение, что шелесть шелка терзаеть мой слухъ такъ же, какъ хорошая музыка, что мнъ доставляеть величайшее страданіе ступать по мягкому, бархатному ковру, и что я не знаю запаха ужаснье, чьмъ запахъ духовъ! Ньть, я отдался этой жизни со всвиъ увлеченіемъ, котораго она заслуживаетъ. Я чувствовалъ себя отлично въ этой обезпеченной, довольной жизнью средв. Въ кабинетв хозяина, въ гостиной хозяйки, среди этихъ дамъ, выхоленныхъ, красивыхъ, прекрасно одътыхъ, думавшихъ только объ удовольствіяхъ. И мий казалось бы ужаснымъ нарушить миръ и довольство этихъ милыхъ людей. Откровенно говоря, когда ко мив являлась бъднота и клянчила: "Напишите, чтобы пристыдить ихъ и напомнить о насъ", меня брала злость И это казалось мнъ огромной несправедливостью:

— Развъ они виноваты въ томъ, что они богаты? Зачъмъ же отравлять имъ существованіе?

И когда я писалъ, я думалъ о нихъ. Объ этихъ прекрасныхъ дамахъ, которыя завтра прочтутъ то, что я пишу. И я гналъ изъ моихъ писаній все, что могло бы навести ихъ на грустныя думы, отравить имъ ихъ спокойное наслажденіе жизнью. Зачъмъ отравлять имъ жизнь? Я берегъ покой того кружка, принадлежать къ которому мнъ доставляло столько удовольствія.

Это было въ рождественскую ночь. Быть-можеть, по старой, еще съ дътства оставшейся привычкъ,— въ эти ночи, ночь Рождества и ночь Пасхи,— чувствуещь какъ-то все особенно сильно.

Я ушель отъ моихъ знакомыхъ съ веселой, шумной елки рано, — около десяти часовъ. Мив хотвлось остаться одному. Ввроятно, это подкрадывается старость. Старость, когда мы начинаемъ замвчать то, чего не замвчають въ молодости, — одиночество. Ставкоторыхъ поръ мив становится грустно смотрвть на двтей. Мое сердце переполняется тихою грустью. Часто на улицв я долго смотрю вслвдъ красивому нарядному ребенку. И если ребенокъ вышелъ встрвчать отца, возвращающагося со службы, и съ крикомъ "папа" кинется къ нему, — я чувствую какое-то страданіе въ душв, какую-то обиду и спвшу уйти, потому что что-то мив давитъ горло.

Я никогда не чувствовалъ себя такимъ одинокимъ, какъ въ эту минуту, когда дъти шумной, нарядной, веселой толпой съ криками окружили блестящую, сотнями огней горъвшую елку. Слезы подступили мнъ къ горлу, и я посиъшилъ уйти, сославшись

на головную боль. Уйти, чтобъ не видъть радостей, въ которыхъ миъ никогда не суждено принять участіе.

Я шелъ домой, нагруженный этими бездѣлушками, этими маленькими рождественскими подарками, ничего не стоящими, но трогательными, потому что они говорять о памяти и вниманіи. Мнѣ вспоминались веселыя лица, съ которыми хозяева праздника—дѣти дѣлали мнѣ эти крошечные подарки, у меня въ ушахъ звучали ихъ звонкіе голоса, и слезы подступали къ горлу все сильнѣе и сильнѣе.

Я никогда не чувствовалъ себя такимъ одинокимъ, какъ въ этотъ вечеръ, входя въ свою комнату. Мнъ показалось въ ней холодно и страшно.

#### -- Олинъ!

И эта мысль почему-то испугала меня.

Я не зажегь огня и ходиль по комнать, ярко освыщенной бльдно-голубымь свытомь луны, падавшимь вь окно. Свыть ли луны такь дыйствуеть на нервы, но я чувствоваль какое-то волненіе, робость, страхь. Звуки моихь шаговь пугали меня.

— Состояніе, какое, въроятно, бываетъ передъ появленіемъ привидъній!—хотълъ я улыбнуться про себя, но мнъ стало еще страшнъе при этой мысли.

Боже! Да что жъ это? Неужели я схожу съ ума? Мнѣ послышался тихій плачъ въ углу комнаты. Еще, еще... какой-то шопотъ... Я слышу ихъ голоса... Я различаю ихъ лица... Они наполняютъ мою комнату... Они ближе и ближе подступаютъ ко мнѣ... Я чувствую ужасъ отъ этой смрадной толпы дѣтей, стариковъ, одѣтыхъ въ рубища, женщинъ съ пьяными, испитыми лицами... Я хочу крикнуть, а они шепчутъ мнѣ:

И надвигаются все ближе.

Да, да, я узнаю ихъ. Монхъ старыхъ знакомыхъ. Падшихъ дѣтей, со скорбнымъ взглядомъ и циничной рѣчью на устахъ, грязныя, оборванныя привидѣнія ночлежныхъ домовъ... Вотъ эта женщина, прижимающая къ груди чахлаго ребенка... Истерзанная, растрепанная, окровавленная... Голова повязана мокрымъ платкомъ... Отъ нея пахнетъ виномъ... Она ушла промыслить ужинъ для своего ребенка и вернулась пьяная, но безъ денегъ: ее напоили, но не дали денегъ... Она клянетъ себя и ребенка, грозя сейчасъ расшибить ему голову о печку... Я знаю ее... А этотъ звонъ кандаловъ... А эти измученныя лица, горящія отчаяніемъ и злобой... И вся эта страшная толпа, отъ которой вѣетъ преступленіемъ и порокомъ, все ближе и ближе подходитъ ко мнъ.

— Развъ мы не отдали тебъ часть своей жизни, откровенно довъряя тебъ наши тайны...

Развъ я самъ не чувствоваль, что ужъ принадлежу не себъ одному, выходя изъ этихъ тюремъ, ночлежныхъ домовъ, притоновъ. Развъ я не чувствовалъ, что части моего сердца принадлежать имъ.

— Развѣ мы не повѣрили тебѣ, какъ другу, когда ты приходилъ къ намъ? А ты... Развѣ ты не обманулъ нашего довѣрія? Развѣ ты не забылъ насъ, отдавшихъ тебѣ свое довѣріе, свою душу, среди людей, отдавшихъ тебѣ только свою любезность?.. Развѣ шелестъ шелка не заглушилъ нашихъ голосовъ, полныхъ скорби и муки, нашихъ стоновъ, нашихъ воплей, нашихъ криковъ отчаянія?.. Мы довѣрились тебѣ, а ты, ты обманулъ довѣріе гибнущихъ... Ты жаловался па одиночество, смотри,—нѣтъ, ты не одинокъ!..

Хохотъ послышался мнѣ въ этихъ словахъ. Внѣ себя отъ ужаса, расталкивая толпу, я кинулся изъ комнаты.

Я бъжаль по улицамь, какь бъжить измънникь, предатель. Я чувствоваль, что "они" правы, тысячу разъ правы...

Меня остановиль какой-то женскій голось:

— Мужчинка, куда торопитесь? Захватите меня.

Вотъ она, эта нищета, съ такимъ довъріемъ открывшая мнъ свою душу.

Иззябшая, продрогшая, въ своей коротенькой кофточкъ, дъвушка силилась мнъ улыбнуться въ то время, какъ голодъ свътился въ ея глазахъ.

Въ такую ночь...

- Илемъ! - сказалъ я ей.

Мы пошли. Какой-то не то стонъ, не то плачъ, не то завыванье послышалось намъ на одномъ изъ перекрестковъ.

На краю тротуара виднѣлся черный комокъ чегото. Это былъ мальчикъ, издрогшій, полуприкрытый лохмотьями, замерзающій. Приставивъ свои холодные какъ ледышки кулачонки ко рту, онъ дулъ на нихъ, издавая не то стонъ, не то какое-то завыванье.

— У-у, у-у! — слышалось только.

Онъ вылъ не потому, что надъялся, что его ктонибудь услышить. Онъ потерялъ на это надежду. Онъ вылъ инстинктивно. Въдь не можетъ же человъкъ умирать молча!

Мы съ женщиной хотъли поставить его на ноги. Онъ падалъ. Замерзшія ноги его не держали.

Тогда я схватилъ его на руки и крикнулъ:

— Идемъ! Скорње!

Въдь долженъ гдъ-нибудь быть открыть какой-нибудь притонъ для тъхъ, у кого нътъ угла въ такую ночь.

Въдь собираются же гдъ-нибудь нищета, преступление и порокъ, чтобы сбиться въ кучу и согръть другь друга въ такую холодную ночь.

— Я знаю такой трактиръ!— сказала миъ моя спутница.

И мы пошли, почти побъжали. Я съ полуумирающимъ мальчишкой на рукахъ. Она—продрогшая, стуча на ходу зубами.

Мы бъжали по пустымъ улицамъ города, уходя все дальше и дальше въ кварталы, населенные нищетой.

— Здёсь! — сказала женщина.

Мы прошли черезъ вонючій, грязный дворъ и нащупали обитую рваной рогожею дверь.

Моя спутница стукнула три раза, условнымъ стукомъ.

За дверью послышались шаги и голосъ:

- Кто тамъ?
- -- Сашка карманщица.
- Одна?
- Нъ. Съ пассажиромъ.
- Съ пассажиромъ?

Дверь отворилась, пахнувъ на насъ клубомъ сырого, какого-то кислаго пара.

Пахло промозглымъ пивомъ, дымомъ скверныхъ папиросъ.

Это быль трактирь — притонь, торгующій цёлую ночь.

Пріютъ воровъ, падшихъ женщинъ, шулеровъ самаго низкаго разбора. Полусонный хозяинъ стоялъ за стойкой. Нѣсколько пьяныхъ за столами, покрытыми грязными скатертями, кричали, ругались, хвастались другъ передъ другомъ тѣмъ, что лучше было бы скрывать.

— Тише, черти! — крикнулъ на нихъ половой въ опоркахъ на босу ногу. — Не видите, баринъ.

Пьяные попритихли, съ любопытствомъ глядя на меня, на женщину, на замерзшаго мальчишку.

- Давай всего, что только есть, и водки.
- Въ сей моментъ!--крикнулъ половой.

Хозяинъ засуетился.

Столъ уставляли закусками.

Мы съ женщиной принялись оттирать руки мальчишкъ. Она залпомъ выпила три рюмки водки и начала понемножку согръваться.

Мальчишка пришель въ себя, жадными глазами смотрълъ нъсколько минутъ на разставленную ъду, затъмъ схватилъ ножку заливного поросенка и кинулся было бъжать.

Женщина поймала его за шиворотъ:

- Вшь туть, пострыленокь!
- И, слегка опьянъвшая, хохотала, глядя, какъ онъ рвалъ огромными кусками мясо поросенка и глоталъ, почти не жевавши, давясь.
- Xo-xo-xo! Боится, что вздуютъ! Ахъ, пострѣлъ! Молодая еще дѣвушка, съ узкимъ лбомъ, низко, надъ бровями, растущими волосами,— настоящій типъ вырождающейся.
- Шишнадцать лътъ всего! сказала она, замътивъ, что я смотрю на нее.
  - A давно?
  - Третій годъ.

— A, чорть — тварь... — расхохоталась по ея адресу компанія за сосъднимъ столомъ.

Мальчишка продолжаль уплетать за объ щеки, съ опаской поглядывая на меня.

- Вшь! Вшь!..
- Какъ зовутъ? спросила его "Сашка".
- Петькой.

Они говорили, продолжая жевать, перебрасываясь фразами въ антрактахъ, когда брали руками заливного поросенка, рыбу, ветчину, вареное мясо.

- Родные есть? Тятька?
- Тятьки нътъ.
- A мамка?
- Мамка проситъ.
- Братья?
- Одинъ братъ. Въ новой тюрьмъ сидитъ.
- Сестры?
- Двъ. Одна ходитъ. Другая въ больницъ лежитъ.
  - Форточникъ, что ли?
- Нътъ, малъ больно. Подросту, въ форточники выйду. Покамъстъ такъ, съ лотковъ гдъ жрать таскаю...
  - А ночуешь гдъ? Въ ночлежномъ?
  - Зачвиъ?
  - А гдѣ жъ?
- Вчерась въ бульварномъ. Третьяго дня въ Александровскомъ. Нынче опять въ Бульварный шелъ. Не дошелъ, зазябъ.

"Сашка" кончила всть и вытирала теперь руки о грязную скатерть. Она только пила, не закусывая. Я приказалъ подать вина.

— Вотъ это здорово! Совсъмъ по-праздничному.

Мальчишка продолжалъ глотать съ такой же жадностью.

Въ дверь раздался сильный стукъ. Такъ стучитъ только отчаяніе.

Посътители вскочили съ испуганнымъ видомъ.

До меня донесся шопотъ: "полиція?"

Въ ихъ взглядахъ на меня я прочелъ подозрѣніе: ужъ не я ли привелъ за собой полицію?

Хозяннъ стоялъ около лампы-молніи, готовясь ее погасить въ нужный моментъ.

Растерявшійся половой побъжаль отворять дверь.

Донесся какой-то разговоръ, и въ комнату ворвался человъкъ съ видомъ затравленнаго звъря, котораго преслъдуютъ по пятамъ.

— Ванька!—свободнъе вздохнула компанія.—Напугалъ, чортъ!

Но хозяинъ преградилъ ему путь.

- -- Гонятъ?
- Гонятъ. Да мы бросились въ разныя стороны.
- Убирайся!
- Да за мной со слъда сбились...
- Сей моментъ убирайся!..

Хозяинъ схватилъ его за шиворотъ. Половой подскочилъ, готовый къ услугамъ. Но я схватилъ хозяина за рукавъ:

— Стойте... Садись сюда. Если придетъ полиція, я покажу, что съ вечера сижу здёсь съ нимъ. Что онъ никуда не отлучался. Садись!

"Ванька" посмотрълъ на меня съ изумленіемъ, съ недовъріемъ:

— Не сыщикъ ли?

— Садись, коли баринъ выправить объщаетъ!— улыбнулся хозяинъ.

И "Ванька" робко сълъ на край стула. "Сашка", принявшая на себя роль хозяйки, налила ему рюмку водки.

- Пей!
- Съ праздникомъ! Рождествомъ Христовымъ, сказалъ Ванька.
- A въдь и впрямь! Съ праздникомъ, съ Рождествомъ!

Всв потянулись чокаться рюмками, стаканами пива, вина.

- Съ Рождествомъ!
- И васъ также!
- **А** ты, постръленокъ, чего хочешь?—обратилась къ мальчишкъ "Сашка".
  - Красной водки, которая сладкая!
  - -- Дать ему красной водки, которая сладкая!
  - А чего жъ не жрешь, анавема?
  - Усталъ!

Онъ сидълъ теперь пыхтя и отдуваясь, словно послъ тяжелой работы.

- Дозволите?—спрашивалъ Ванька, неръшительно протягивая руку къ остаткамъ ъды.
- Ъшь, ѣшь! Все, что хочешь, ѣшь!—хозяйничала Сашка.—Разговляйся!

И налила Ванькъ водки. Онъ каждый разъ произносиль все веселье и веселье:

— Съ праздникомъ всю честную компанію!

И всѣ, веселѣя и веселѣя, чокались. Мальчишка не отставалъ отъ другихъ, потягивалъ наливку,—теперь онъ весь раскраснѣлся, согрѣлся совсѣмъ, весело

поглядывалъ кругомъ и вдругъ неожиданно заоралъ, указывая на "Ваньку":

- А онъ жуликъ! Я его знаю, онъ жуликъ!
- Не осуждай, подлець, въ такой великій праздникъ! наставительно отвъчаль ему хмелъвшій "Ванька", а "Сашка карманщица", совсъмъ пьяная, вдругь вскочила и заорала безъ-толку, безъ смысла, жестикулируя руками:
- Что жъ это такое? Зазвали и вдругъ рядомъ съ жуликомъ посадили. Гдъ жъ это видано?
  - -- Молчи, ты...

И онъ крикнуль ей слово, отъ котораго она схватилась за бутылку. "Ванька" тоже угрожающе поднялся съ мъста. Мальчишка полъзъ подъ столъ, крича:

### — Жуликъ! Жуликъ! Убъетъ!

Они кричали другъ на друга, обдавая другъ друга потоками презрительной, самой обидной брани. Эти подонки старались втоптать другъ друга въ грязь какъ можно глубже.

Но я изо всей силы стукнулъ кулакомъ по столу, такъ что мальчишка съ любопытствомъ выглянулъ изъ-подъ стола, и крикнулъ:

— Баста! Ни слова больше! Нътъ никого здъсь, кромъ братьевъ. Веселитесь во имя Бога, братства и любви. Бога, пришедшаго въ міръ съ душой незлобивой, какъ душа младенца!

И я чокнулся со своими собесъдниками.

Мы продолжали веселиться, чокаться и шумъть, поздравляя съ праздникомъ другъ друга.

Меркли звъзды одна за другой, гдъ-то звонили къ заутренъ, когда я вышелъ изъ трактира.

Вышелъ, оставивъ совсѣмъ пьяную Сашку, еле бормотавшую какія-то несвязныя слова, "Ваньку", который почему-то плакалъ, билъ себя въ грудь и говорилъ:

— Сказывалъ, надоть ключъ подобрать... Нътъ, они замки ломать, дъяволы!..

Осовълый отъ красной водочки мальчишка залъзъ спать подъ столъ.

Гости за сосъднимъ столомъ спали, кто положивъ голову на руки, кто откинувшись на стулъ и храпя во все горло.

И я съ удовольствіемъ вспоминалъ эту картину: всякій встрътилъ праздникъ какъ хотълъ. Да и я встрътилъ праздникъ не одинъ.

- А на слъдующій день мой добрый старый другь, зашедшій поздравить меня съ праздникомъ, который, онъ знаеть, я такъ люблю, добрый другь, умѣющій читать на моемъ лицѣ, спросилъ:
  - Oro! Какое у насъ лицо. Опять кутежь? Я улыбнулся.
  - Небольшой.
  - Опять шампанское? Женщины?
  - Немного.

Онъ грустно поначалъ головой:

— Ты губишь себя, милый мой.



ТЪНЬ.

### Тънь.

Насъ двое въ комнатъ: я и моя тънь.

Свътъ брезжитъ гдъ-то сзади. Я сижу верхомъ на стулъ и смотрю на нее.

Она стелется по полу, всползаеть на ствну и оттуда киваеть мнъ своею огромною, безобразною головой.

Когда я поднимаю голову, она моментально всползаетъ еще выше, растетъ и пухнетъ,—этотъ черный, отвратительный призракъ.

Она слъдить за мной, повторяеть каждое мое движеніе, издъвается надо мной, и я въ безсильной ярости сжимаю кулаки.

Мнъ никуда не уйти отъ нея!

Когда я, обезумъвь отъ бъщенства, кидаюсь на нее, она моментально исчезаеть, свертывается клубкомъ у моихъ ногъ, ползаеть около нихъ, словно хочетъ схватить меня за ноги и повалить.

Когда я начинаю метаться по комнать, она огромными шагами перескакиваеть черезь всю комнату, словно чудовище, которое сторожить каждый мой шагь и каждую минуту преграждаеть мнь дорогу.

Она вездъ. Она появляется на двери, около окна на стънахъ, въ углахъ, нагибается надо мной, перетягиваясь черезъ потолокъ.

Я не могу сдълать движенія рукой. Ея огромныя, безобразныя, цъпкія лапы ползуть по стънамъ, ежеминутно готовыя схватить меня и задушить какъ щенка.

Окаменълый отъ ужаса, я стою передъ нею, боясь пошевелить рукой и ногой, и смотрю, какъ она покачиваетъ головой при каждомъ колебаніи пламени тусклой лампочки, горящей въ фонаръ.

Я не могу, не могу отвернуться отъ нея.

Мнъ страшно. Я чувствую, что она стоитъ за спиной у меня, и мнъ неудержимо хочется оглянуться!

Я помню, какъ увидалъ ее въ первый разъ, — этого проклятаго двойника, который знаетъ всю мою жизнь, который не оставлялъ меня ни на минуту ни на секунду.

Даже тогда, когда я думаль, что я одинь, онь быль здъсь,—этоть двойникь,—все видъль, все подсматриваль и издъвался надо мной, передразнивая каждое мое движеніе.

Тогда я тоже думаль, что я одинь.

Жена лежала въ забыть в, прикрытая атласнымъ стеганымъ одвяломъ. На его свътломъ фон в, около самой ея головы, виднълось большое пятно отъ какого-то пролитаго лъкарства.

Мнъ были противны и это грязное пятно и это красное отъ жара лицо, съ запекшимися губами, закрытыми глазами, посинъвшими, распухшими въками, косичками мокрыхъ волосъ, приставшихъ къпотному лбу.

Изрѣдка она тихо стонала, и я брезгливо подаваль ей ложку какого-то питья, съ отвращеніемъ приподнимая другою рукой потную, мокрую голову.

Когда она шевелилась подъ одъяломъ, ея тъло казалось мнъ какимъ-то огромнымъ червякомъ, котораго мнъ хотълось раздавить.

Она возбуждала во мнъ гадливость и ненависть,— эта женщина, допившаяся до горячки.

Если я не душилъ ея, то только потому, что безъ отвращенія не могъ подумать, какъ я коснусь руками ея жирной, влажной, горячей шеи съ надувшимися жилами.

Взять подушку и задавить ее.

Когда эта мысль пришла мит въ голову, меня неудержимо потянуло къ постели.

Схватить подушку, кинуть ей на голову, нажать кольнкой разъ, два, подержать такъ минуть пять или десять,—и все кончено, это большое, расплывшееся тъло перестанетъ хрипъть, сопъть, дышать съ какимъ-то отвратительнымъ присвистомъ, каждымъ стономъ, каждымъ вздохомъ заставляя меня передергиваться съ ногъ до головы.

Я то готовъ быль кинуться на нее, чтобъ кончить все сразу, то тихо подбирался къ кровати, осторожно протягивая руку къ постели, боясь, чтобъ жена не очнулась и не закричала.

Но что-то удерживало меня. Что именно— не знаю. Что-то...

Напрасно я призываль на помощь весь свой умъ, всю свою логику.

Въдь я же умный человъкъ. Я понимаю, что все равно,—теперь, черезъ полгода, черезъ годъ, черезъ

два. Ну, она выздоровъетъ. Снова начнется безпробудное пьянство, дикія, безобразныя, отвратительныя сцены. Въдь она не можетъ не пить. У нея алкоголизмъ. Зачъмъ же я-то, я-то еще полгода, годъ, бытьможетъ, цълыхъ два долженъ выносить все это?

Два года...

Въ ужасъ я даже закрылъ глаза. Мнъ такъ и представилось это пьяное лицо, съ безсмысленными оловянными глазами, перекосившимися блъдными губами, безсильно отвисшими одутловатыми щеками.

О, какъ я ненавидълъ это лицо, эту женщину въ эти минуты!

А что-то мѣшало миѣ сдѣлать шагъ и взять подушку.

Что-то кръпко держало меня словно прикованнымъ на мъстъ, не давало поднять руки.

Да въдь не мальчикъ я на самомъ дълъ. Въдь не върю же я въ эту "совъсть", которую выдумали для того, чтобъ пугать дураковъ и слабонервныхъ людей.

Въдь сколько разъ я думалъ задушить ее, когда она, пьяная, безобразная, пахнувшая алкоголемъ, храпъла около меня. И каждый разъ я думалъ объ этомъ спокойно, холодно, не чувствуя сожалънія къ этой женщинъ полуживотному, отравившей, исковеркавшей, изломавшей всю мою жизнь.

Ее слъдовало задушить прямо-таки изъ сожалънія и къ ней и къ самому себъ. Что это за жизнь? И за что долженъ мучиться я?

Если что меня останавливало тогда, такъ это боязнь отвътственности, боязнь погубить себя изъ-за этого полутрупа, который и безъ того уже разлагается.

И вотъ сегодня... Сегодня случай прекратить эту мучительную, ужаспую, безобразпую агонію, которая можетъ протяпуться еще года два.

Сегодия докторъ, уъзжая, сказалъ:

— Боюсь, чтобъ съ ней не случилось апоплектическаго удара.

Онъ можеть случиться.

Отчего же не заставить его случиться?

Сегодия или никогда. Здѣсь нѣтъ даже престуиленія. Здѣсь просто отвращеніе и жалость. Неужели какое-то неизвѣстное "что-то" можетъ пересилить всѣ доводы разума, логики, можетъ помѣшать сдѣлать миѣто, что я передумалъ, перечувствовалъ, давно уже перестрадалъ? Неужели я не могу?

Не знаю, сколько времени я думаль и боролся самь съ собой, но я вздрогнуль и очнулся подъ ея пристальнымъ взглядомъ.

Въ двухъ шагахъ она, очнувшись, смотръла на меня широко раскрытыми отъ ужаса глазами, словно читая на моемъ лицъ мои мысли. Она приподняла голову и шевелила губами, тщетно стараясь крикнуть.

Въ ел глазахъ было столько мерзкаго, животнаго ужаса, что у меня пробъжали какія-то противныя мурашки по всему тълу и во миъ проспулось бъщеное желаніе задавить это противное, мерзкое животное, дълавшее судорожныя движенія.

Я кинулся на нее и, придавивъ подушкой ея лицо, навалился на подушку всею тяжестью своего тъла.

Два-три конвульсивныхъ движенія ея тѣла заставили меня еще сильнѣе съ отвращеніемъ нажать подушку.

Затъмъ все какъ-то кругомъ пошло у меня въ головъ, я вдругъ почувствовалъ страшную усталость и впалъ въ какое-то забитье.

Не помню, сколько времени оно продолжалось, но я очнулся съ мыслью:

— Не видалъ ли меня кто-нибудь?

Кругомъ было тихо. Я, на всякій случай, оглянулся. Никого.

Какъ вдругъ я вскрикнулъ.

Напротивъ, на стънъ, навалившись на что-то всею своею массой, лежало черное чудовище, медленно поворачивая свою огромную голову.

Я закричать, кинулся съ подушкой въ рукъ къ двери, но оно, тоже схвативъ что-то огромное черное, однимъ шагомъ перешагнуло черезъ всю комнату и стало прямо предо мною, загородивъ дорогу.

Тогда я закричаль отъ ужаса и упаль безъ па-

Сбъжавшаяся прислуга нашла меня около двери лежащимъ безъ чувствъ, съ кръпко зажатою подушкой въ рукъ. Трупъ жены уже холодълъ. Доктора нашли, что она умерла отъ апоплектическаго удара, и утъшали меня въ моемъ "горъ", говоря:

- Этого и слъдовало ждать.

Я, впрочемъ, не помню, что именно говорилось, что дълалось вокругъ въ теченіе этихъ трехъ дней.

Я быль занять своими мыслями. Ночная сцена не вызывала во мив ни ужаса ни отвращенія,—я просто старался не думать о пей, и это мив удавалось. Въ общемъ я чувствоваль себя спокойнымъ и какъ-то равнодушнымъ ко всему.

Такъ шло до самыхъ похоронъ.

Я стояль около могилы, гдф-то въ толпф, когда всф разступились, чтобъ пропустить меня бросить первую горсть земли.

Что-то пъли. Кто-то плакалъ.

Я спокойно сдълаль два шага къ желтой кучъ песку, которая возвышалась на краю могилы, и вдругь передо мной скользнула по землъ и потянулась въ могилу она, моя тънь.

Она, та самая, которая видъла все, она снова появилась передо мной, чтобъ повторить мнъ все, и тянула меня за собой въ могилу.

Говорять, я страшно закричаль.

Но я помню только, что услышаль словно какой-то чужой, страшный, раздирающій душу вопль и кинулся впередь, чтобъ задушить "ee"...

Не помию, что я потомъ говорилъ, кричалъ, дѣлалъ, что со миой было, — когда я очиулся, я сидѣлъ на какомъ-то могильномъ намятникѣ, окруженный толною провожатыхъ, кто-то подавалъ мнѣ воды, кто-то совѣтовалъ прійти въ себя.

Мнъ сразу бросились въ глаза изумленныя лица, послынались разговоры, восклицанія:

- Этого не можетъ быть!
- Онъ просто помъщался!
- Однако!
- -- Невозможно!.. Онъ такъ терпъливо сносилъ!..
- Бываетъ, что убійцы въ такія минуты...
- Просто бредъ!
- Тсъ. Онъ очнулся!

Я поняль, что, въроятно, что-нибудь сказаль, тревожнымъ взглядомъ оглянуль всъхъ, поднялся, чтобы что-то сказать,—и вдругь увидъль, какъ какое-то

темное пятно скользнуло по памятнику. У меня остановилось сердце: черезъ памятникъ переползла моя тънь, ея голова виднълась на пальто моего знакомаго, словно она добиралась, чтобъ сказать ему на ухо мою тайну.

Я снова закричалъ отъ ужаса, кинулся на моего знакомаго, увидълъ, какъ тънь, вдругъ спрыгнувъ съ него, шаромъ подкатилась мнъ подъ ноги, и упалъ...

Когда я очнулся на этотъ разъ, я лежалъ въ своемъ кабинетъ. Пахло лъкарствами. Въ окна билъ ослъпительный солнечный свътъ.

У стола моя дальняя тетка мастерила какое-то питье. Около меня была сидълка.

Сначала я никакъ не могъ сообразить, что произошло, но сидълка начала поправлять подушки, и мнъ сразу вспомнилось все. И вдругъ я лежу на той самой подушкъ...

— Тетя... тетя...—крикнулъ я, вскакивая на постели,—это не та самая подушка?.. Не та?..

А по стънъ выросла черная, безобразная тънь и чутко прислушивалась, та ли это самая подушка, или нътъ.

Съ тъхъ поръ "она" не даетъ мнъ покоя.

Я разговариваль со слѣдователемь и чувствоваль, что она стоить у меня за спиной и внимательно слушаеть, все ли и такъ ли я разсказываю.

Когда слъдователь покачиваль головой, я приходиль въ бъщенство. Развъ я могъ бы, развъ я смъль бы врать въ ея присутствіи?

Я кричалъ:

- Спросите у нея! Она все видъла! Все знаетъ!

Я оглядывался на тѣнь, она кривлялась, безобразно махала руками, передразнивая меня, издѣваясь надо мной, надъ тѣмъ, что мнъ не върятъ.

Когда меня осматривали какіе-то доктора, я умоляль только, чтобъ они осматривали меня въ темной комнатъ.

Да нътъ! И въ темнотъ мнъ нътъ отъ нея спа-

Я чувствую ея присутствіе здѣсь, около, чувствую, что достаточно одного луча свѣта, и опа снова появится передо мной, начнетъ издѣваться, насмѣхаться надо мной.

Она знаетъ все, видъла всъ минуты моей жизни, минуты, которыхъ я стыжусь, минуты, о которыхъ боюсь вспомнить.

Она исчезнетъ только вмъстъ со мной.

Вмъстъ со мной...

Когда ее положать вмъстъ со мной въ гробъ, тамъ ужъ никогда не будеть свъта. Она умретъ.

Какая идея! Удариться со всего разбъта головой объ стъну?..

Записки эти найдены въ камерѣ паціента лѣчебницы для душевно-больныхъ. Несчастный покончилъ жизнь самоубійствомъ, разбивъ себѣ голову о притолоку двери. Ударъ былъ такъ силенъ, что черепъ раскроился пополамъ.



# Въ послъдній часъ.

# Въ послѣдній часъ.

Луна дрожащимъ свътомъ серебрила каналъ. На темномъ бархатномъ небъ брильянтами сверкали звъзды. Откуда-то неслась пъснь гондольера. Ей аккомпанировали мелкія волны, плескавшіяся о мраморныя ступени дворцовъ.

Никогда Венеція не была такъ прекрасна, какъ въ эту минуту.

Гдъ-то пълъ гондольеръ, пъли волны, пълъ голубой лунпый свътъ, обливая бълыя стъны молчаливыхъ, суровыхъ палаццо.

Пъло все, — воздухъ, и море, и свътъ. Эта чудная пъснь звучала сильнъе, сильнъе, сильнъе... и онъ очнулся.

Пахло и больницей и казармой. На стънъ за проволочною съткой коптился ночникъ. Въ окна глядълъ кусочекъ бълаго, безцвътнаго лътняго ночного неба, изръзанный переплетомъ желъзной тюремной ръшетки.

На другой койкъ, стоявшей въ палатъ, метался въ бреду какой-то человъкъ.

Онъ то старался подняться, то снова падаль на подушки и бормоталь, безсильно махая руками:

— Вонъ... вонъ изба... Видишь, безъ крыши... Пріъли солому-то... Рубили и ъли... Жрать... жрать было нечего... Жрать... Вонъ она... вонъ изба-то... Лавину становилось страшно.

Гдѣ онъ, что съ нимъ было и какъ опъ попалъ сюда? Мысли плохо вязались въ головѣ, какой-то шумъ мѣшалъ думать, но онъ старался припоминть.

Его повели къ слъдователю для допроса. Весь этотъ день ему чувствовалось какъ-то не по себъ. Какая-то слабость, какой-то шумъ въ головъ, какія-то несвязныя мысли. Онъ сидълъ въ коридоръ на скамейкъ, и вдругъ ему начало казаться, что двое солдатъ, стоявшихъ по бокамъ съ ружьями, стали расти, расти, превратились въ какихъ-то великановъ, заслонившихъ собою все. Такъ что, когда чей-то голосъ выкрикнулъ: "Арестованный Лавинъ, къ слъдователю!" — онъ, поднявшись, даже съ удивленемъ увидълъ, вмъсто великановъ, двухъ маленькихъ гариизонныхъ солдатъзамухрыгъ.

Онъ постарался подбодриться и войти къ слъдователю съ обычнымъ смълымъ, гордымъ, спокойнымъ видомъ.

Много онъ ихъ видълъ на своемъ въку!

Онъ твердо подошелъ къ столу со своею обычною осанкой, но тутъ почувствовалъ, что ноги у него под-кашиваются, и безсильно опустился на стулъ въ ту самую минуту, когда слъдователь только еще говорилъ:

#### — Садитесь!

Въ головъ шумъло все сильнъе и сильнъе, и невыносимо тянулись эти минуты, пока слъдователь съ утрированно-дъловымъ видомъ рылся въ какихъ-то бумагахъ.

— Вы, г. Лавинъ, обвиняетесь въ побътъ на пути слъдованія въ ссылку и проживательствъ по чужому

виду, — наконецъ проговорилъ слѣдователь, все еще перелистывая какія-то бумаги и не глядя на него.— Что вамъ будетъ угодно сказать по этому дѣлу?

Онъ хотълъ было отвътить по обыкновенію какоюпибудь бравадой, но почувствовалъ, что голова становится тяжела какъ свинецъ, схватился за столъ и прислопился къ пему грудью... Голова безсильно опустилась, онъ чувствовалъ, что еще минута, и онъ упадетъ.

— Что съ вами?.. Вы больны? — спросилъ слъдователь, взглянувъ на него и вскакивая съ мъста.

Онъ едва могъ прошептать:

- Да... мнъ скверно...

Онъ слышалъ, какъ слѣдователь кому-то кричалъ: "Скорѣе доктора!" какъ кто-то бѣгалъ, суетился, какъ отворялась и затворялась дверь, какъ, наконецъ, вбѣжалъ какой-то господинъ, какъ онъ шопотомъ спросилъ у слѣдователя: "Лавинъ? Тотъ самый?" поминтъ, что этотъ господинъ щупалъ у него пульсъ, велѣлъ показать языкъ, просилъ зачѣмъ-то привстать, снять сюртукъ. Онъ повиновался молча, машинально. Онъ слышалъ затѣмъ, какъ докторъ сказалъ слѣдователю: "Тифозная горячка", — и вдругъ ему показалось, что докторъ превращается въ кондуктора желѣзной дороги.

Да, да! Онъ запомнилъ это лицо кондуктора одной изъ швейцарскихъ дорогъ. Онъ вздрогнулъ и сталъ всматриваться пристальнъе.

Да, да! Это вагонъ, кругомъ пассажиры. Въ ушахъ ясно слышенъ адскій грохотъ быстро летящаго поъзда. Только почему это въ вагонъ все входятъ и выходятъ?

Ага! Въ отворенную дверь онъ увидълъ двоихъ солдатъ съ ружьями. За нимъ погоня. Онъ попался. Его сейчасъ арестуютъ. Надо выпрыгнуть въ окно.

Онъ отлично помнить, какъ вскочиль съ мъста и съ крикомъ кинулся къ окну. Но его кто-то схватиль... Дальше все какъ въ туманъ. Онъ помнитъ только, что отбивался, что ударилъ кого-то головой въ животъ, — страшный матросскій ударъ, который опъ видълъ когда-то въ Александріи и который почему-то ему вспомнился въ эту минуту, — что кто-то закричалъ страшнымъ голосомъ, что какіе-то люди кинулись на него и начали его валить. Дальше онъ не помнилъ ничего.

-- Вонъ... вонъ изба, которая безъ крыши... Безъ крыши которая,—хрипълъ на сосъдней койкъ больной, метаясь по постели и размахивая руками.

Лавину становилось все страшите и страшите.

Что-то сърое, безцвътное, бълесоватое ползло, проползало сквозь ръшетку окна, тянулось къ нему и къ его сосъду... Неужели это была смерть?

Лавинъ не былъ трусомъ. Въ своихъ авантюрахъ, изумлявшихъ цѣлую Европу, онъ не разъ видалъ смерть лицомъ къ лицу. И не боялся. Она огромнымъ чернымъ призракомъ вставала въ минуту опасности, и этотъ призракъ его не пугалъ.

Вотъ хоть бы этотъ побъгъ въ Швепцаріи. Повздъ съ головоломною быстротой летълъ сквозь туннели, по гигантскимъ мостамъ, переброшеннымъ черезъ страшныя пропасти, то мчался по самому краю бездоннаго обрыва, то словно слеталъ на самое дно цвътущихъ долинъ. Горы то громоздились надъ пимъ, то толпились подъ нимъ.

Лавинъ (зналъ, что въ сосъднемъ ва онъ сидятъ переодътые полицейскіе, чтобъ арестовать его на слъдующей станціи. И въ немъ проснулась страстная, неудержимая жажда свободы. Былъ только одинъ способъ къ спасенію: пользуясь темнотою ночи, спрыгнуть на всемъ ходу съ поъзда. Сумасшедшій скачокъ на тотъ свътъ. Но онъ не колебался. Покуривая сигару, онъ вышелъ на площадку вагона.

Побздъ летблъ съ быстротой 80 верстъ въ часъ. Огненными полосками мелькали мимо сигнальные фонари. Страшный шумъ, словно все рушилось кругомъ, оглушалъ Лавина, когда поъздъ мчался черезъ туннель... Второй туннель, третій... Повздъ спустился въ долину... Черезъ четверть часа станція... Передъ глазами ровная лужайка... Въ темнотъ ночи словно мелькнуль какой-то огромный черный силуэть, и Лавинъ кинулся къ нему навстръчу, изо всей силы оттолкнувшись ногами отъ подножки и дълая скачокъ впередъ. Онъ очнулся, когда уже отъ повзда остался только маленькій красный огонекъ, быстро исчезавшій вдали. Кругомъ было темно, тихо и спокойно. Въ этой темноть, этой тишинь, этомъ тепль и поков чернаго огромнаго призрака больше уже не было. Онъ былъ страшенъ, но съ нимъ хотълось вступить въ бой, въ единоборство, побъдить или погибнуть. Въ немъ не было ничего мерзкаго, отвратительнаго, какъ въ этомъ съромъ, бълесоватомъ, безформенномъ призракъ, который вползаль теперь сквозь рёшетку окна. Лежать тутъ и широко раскрытыми отъ ужаса глазами смотръть, какъ онъ ползетъ, подбирается все ближе и ближе... Не быть въ силахъ бороться, защищаться, дълать движеніе, лежать и ждать, когда онъ подберется, подползетъ, всего покроетъ своимъ сырымъ колоднымъ, противнымъ, съроватымъ, безформеннымъ тъломъ и медленно, медленно задушитъ...

Какое-то щемящее чувство тоски и отвращенія ныло въ груди. Онъ знаетъ это щемящее чувство. Онъ видълъ смерть, медленно, тихо, но неизбъжно подкрадывавшуюся къ нему. И тогда онъ не могъ сдълать движенія, жеста, чтобъ оттолкпуться. И тогда щемило у него въ груди, но все-таки не такъ, все-таки это было не то.

Онъ долженъ былъ драться на дуэли утромъ, а вечеромъ къ нему явилась любовница его противника умолять, чтобъ онъ не убивалъ того, кто былъ ей дороже всего въ жизии, составлялъ собою все, что было хорошаго, дорогого, свътлаго въ міръ. Передъ нимъ, бреттеромъ, уже нъсколько человъкъ отиравившимъ на тотъ свътъ, передъ стрълкомъ, попадавнимъ съ двадцати шаговъ въ бубноваго туза, эта женщина упала на колъни, умоляя пощадить любимаго человъка. Она была такъ хороша въ эти минуты, когда, рыдая, билась словно въ предсмертной тоскъ у его ногъ, что у него явилось безумное желаніе обладать этою женщиной. Пусть будетъ такъ. Онъ продастъ свой выстрълъ, — и опъ сказалъ ей цъну...

Этотъ полубезумный взглядъ. Эта минута колебанія. И это твердо и рѣшительно сказанное:

- Хорошо.

На утро они стрълялись. По жребію ему достался первый выстрълъ. Онъ съ улыбкой выстрълилъ кудато въ воздухъ. Наступила очередь противника. Опъ медленно подходилъ къ барьеру.

"Негодяй... онъ цълить въ животъ! — думалъ Лавинъ, какъ загипнотизированный, не имъя силъ отвести взглядъ отъ маленькаго, черненькаго кружка". ЕП Секунды казались часами, тянулись безъ конца. Какое-то щемящее чувство тоски сжимало сердце. Смерть подходила медленно, но неизбъжно.

И вдругъ въ эту минуту вспомнилась женщина, которую онъ купилъ этою цѣной. Былъ моментъ, когда она подъ его ласками, кажется, забыла, что передъ нею врагъ... И онъ улыбнулся, вспомнивъ объ этомъ моментъ.

Быть-можеть, эта улыбка заставила дрогнуть руку противника. Онъ почувствоваль только какой-то страшный шумъ и сильный ударъ по плечу. Рана оказалась пустяшной и не задъла даже кости. Страшный призракъ, медленно приближавшійся, вдругь быстро пролетъль мимо, едва дотронувшись до него крыломъ.

Это были страшныя минуты, когда вся жизнь, весь мірь—все сосредоточилось только въ маленькомъ черномъ кружкъ, пристально смотръвшемъ на него.

Но этотъ призракъ не быль тою сърою, холодною, скользкою жабой, которая проползала тецерь своимъ мягкимъ, студепистымъ тъломъ сквозь ръшетку.

И лишь только это сравненіе сквозь страшный шумъ мелькнуло у него въ головъ, онъ вздрогнулъ и заметался; ея холодныя мягкія лапы хватали его уже за ноги, тянули къ себъ. У него холодъли ноги, и онъ чувствовалъ, какъ холодъетъ сердце.

Человъкъ на сосъдней койкъ заметался сильнъе. Очевидно, онъ тоже чувствовалъ близость "ея", старался вырваться, выкарабкаться изъ ея лапъ и хрипълъ, отмахиваясь руками:

- Испить... испить...
- Помогите! хотълось крикнуть Лавину, но изъ горла вылетало только какое-то беззвучное дыханіе. А холодныя, сырыя, какъ туманъ, скользкія лапы ползли и ползли по его тълу, подбирались къ горлу.

Его охватилъ безумный ужасъ. Откуда-то явились силы, Лавинъ вскочилъ и кинулся къ постели сосъда. Хоть на минуту ускользнуть изъ-подъ ея лапъ, и пусть она душитъ ихъ вмъстъ.

Но "она" схватила его за ноги, спутала ихъ одъяломъ, и онъ упалъ на колъни около самой койки сосъда, судорожно обхвативъ руками его горячее тъло.

Вдвоемъ было не такъ страшно.

Все-таки подъ руками было что-то горячее, живое, и онъ чувствовалъ, какъ теплота этого тѣла переливается въ его остывающую кровь.

Сосъдъ заметался еще сильнъе, словно стараясь выкарабкаться изъ его судорожныхъ объятій, наконецъ, приподнялся на локтъ и съ ужасомъ уставился на него широко раскрытыми, красными, воспаленными глазами.

Лавинъ почувствовалъ ужасъ передъ этимъ краснымъ, налитымъ кровью лицомъ, съ рыжею, перепутанною бородой, съ прядями волосъ, прилипшими къ потному лбу. А онъ шепталъ, не сводя съ него полнаго ужаса взгляда, своими пересохшими губами:

— Испить... Умираю...

Ужасъ охватывалъ Лавина все сильнѣе и сильнѣе. Сейчасъ, сейчасъ "она" задушитъ этого и примется за него. Отдалить, отдалить эту минуту!

А умирающій снова безсильно упалъ на подушку и хрипѣлъ, теребя Лавина судорожно сжатою рукой за воротъ рубашки.

— Испить... Испить... Умираю...

**Лавинъ** безпомощнымъ взоромъ оглянулся кругомъ.

Тамъ на столъ должна быть вода. Онъ собраль всъ силы, оттолкнулъ руку, схватившуюся за его рубашку, руку умирающаго, и, цъпляясь за кровать, сталъ подниматься. Умирающій снова приподнялся и старался схватить его рукою, хрипя:

#### — Испить... испить...

Эта судорожно протянутая рука возбуждала въ немъ ужасъ; онъ отшатнулся и, поднявшись на ноги, сдълалъ нъсколько шаговъ, но тутъ же упалъ...

Сфрая жаба расползалась по комнатъ. Она душила больного, и Лавинъ слышалъ, какъ онъ хрипълъ и и метался. Сейчасъ, сейчасъ покончитъ съ однимъ и примется за другого.

Лавинъ въ смертельномъ страхѣ поползъ за водою. Вотъ столъ... Вотъ подъ руку попадается какая-то склянка... Можетъ-быть, это не вода... Можетъ-быть, это лъкарство... Нътъ, кажется, это графипъ...

Опъ застучалъ о другія склянки...

Умирающій приподпялся на койкъ; онъ съ особенною силой хрипълъ теперь:

#### — Испить...

И Лавину казалось, что цѣлая безконечность отдѣляетъ его отъ сосѣда, что онъ никогда не доползетъ до него, чтобъ дать воды, что жаба задушитъ ихъ въ разныхъ углахъ комнаты, и онъ съ отчаяніемъ началъ на колѣняхъ карабкаться по полу, не выпуская графина изъ рукъ.

Воть онь ближе... ближе... Воть койка... Онь чувствуеть этоть жарь, который такь и пышеть оть

больного... Онъ поднесъ къ его запекшимся губамъ графинъ и съ отчаяніемъ зашепталь:

— Да пей же... пей... пей...

Умирающій сдълаль два глотка и, захлебнувшись, упаль на подушки.

Теперь, выпивъ воды, онъ сталъ спокойнъ и пересталъ метаться.

Силы окончательно оставили Лавина; онъ упалъ на полъ тутъ же, рядомъ съ койкой. Около валялся графинъ. Рука Лавина нащупывала лужицу пролившейся воды, и у него тоже просыпалась жажда. Ощущеніе холода и сырости смѣнилось ощущеніемъ какого-то палящаго зноя. Онъ кое-какъ дотянулся и приникъ губами къ лужицѣ воды. Нѣсколько капель какъ будто успокоили и его.

Онъ чувствоваль только страшную слабость.

"Неужели это смерть?" теперь ужъ съ какимъ-то спокойствіемъ подумалъ онъ.

Передъ нимъ почему-то пронеслось нѣсколько знакомыхъ лицъ, картинъ, событій... Вдругъ вспомнился почему-то Донъ-Карлосъ, этотъ неудачный претендентъ, похоронившій себя въ Венеціи, въ своемъ родовомъ палаццо, въ обществѣ художниковъ, артистовъ и куртизанокъ. Онъ разсказываетъ смѣлые, грандіозные замыслы о захватѣ престола одного изъ Балканскихъ государствъ. Потухшіе глаза стараго политическаго авантюриста загораются прежнимъ огонькомъ. Въ Донъ-Карлосѣ, отжившемъ, позабывшемъ свои мечты, просыпается прежній смѣлый, честолюбивый претендентъ. Эта смѣлая, безумная авантюра дѣйствуетъ на него, какъ призывный звукъ трубы на старую кавалерійскую лошадь, онъ готовъ всѣми силами содѣйствовать осуществленію идеи, такой же грандіозной, какими были когда-то и его собственныя. Онъ даетъ денегъ, много денегъ... эти деньги запестръли въ глазахъ Лавина какимъ-то каскадомъ и вдругъ смънились засаленными, истрепанными серіями, сторублевками, и Донъ-Карлоса замънилъ какой-то старичокъ, который шамкаетъ беззубымъ ртомъ:

— Это всъ мои сбереженія. Но я даю ихъ вашему сіятельству какъ залогъ, потому что вполнъ върю вашему сіятельству.

Потомъ мелькнули какія-то знакомыя улицы. Кажется, это Парижъ. Да, разумъется, Парижъ. Но зачъмъ здъсь этотъ бульваръ? Нътъ, это вовсе не Парижъ, это "Unter den Linden", Берлинъ, и даже не Берлинъ, а Въна, потому что вотъ Дунай, какъ будто даже это скорве похоже на Лондонъ... вдругъ все это исчезло, куда-то скрылось, и на ярко-красномъ фонф, который положительно ослфпляетъ Лавина, появилось знакомое лицо... Гдъ онъ видаль это лицо? Ахъ, да, это прокуроръ. "Одинъ изъ прокуроровъ", съ улыбкой подумалъ онъ и хотълъ было сказать что-то очень дерзкое, очень смъшное, очень остроумное, и сказаль бы, если бъ прокуроръ не превратился вдругъ въ маленькую, хорошенькую женщину, которая, ломая руки, смотръла на него глазами, полными слезъ, и твердила:

- Зачвиъ ты двлаешь все это? Зачвиъ?
- Я жить хочу... Понимаешь ли ты? Жить, жить, жить, а не прозябать! хотъль было крикнуть ей въ отвътъ Лавинъ, но надъ нимъ кто-то прохрипълъ:
  - Священника бы... Безъ покаянія...

Свъсившись съ койки, на него глядълъ рыжій сосълъ глазами, полными тоски и страха:

- Священника... безъ покаянія... безъ покаянія... Лавинъ почувствовалъ, какъ снова колодъ поползъ по его тълу.
  - Священника?.. Неужели конецъ?.. Конецъ?..

Подъ рукою было что-то скользкое, холодное, мокрое. Жаба.. Она?

Его снова охватилъ ужасъ, и онъ, приподнявшись, обхватилъ руками тъло сосъда, стараясь всползти на койку.

А тотъ метался и съ какою-то смертельною тоскою повторялъ:

- Священника... священника...
- Не надо... не надо...-шенталъ Лавинъ.
- -- Покаяться... Гръщенъ... Кралъ...

И вдругъ, заметавшись, умирающій приподнялся, крѣпко схватилъ Лавина за плечи и, глядя въ упоръшироко раскрытыми глазами все съ тѣмъ же выраженіемъ ужаса, прохрипѣлъ:

— Да въдь съ голоду, ваше высокородіе, съ голоду... Въдь жрать хотълось, жрать... жрать...

И онъ, не выпуская изъ судорожно сжатыхъ пальцевъ рубашки Лавина, навзничь опрокинулся на подушки, въ груди у него что-то захрипъло, заклокотало, взглядъ сталъ стекляннымъ, онъ вытянулся и замолкъ, только въ груди что-то продолжало клокотать, все тише, тише, слабъе, слабъе...

Лавинъ дѣлалъ всѣ усилія подняться и не могъ: руки крѣпко держали его за воротникъ. Онъ чувствовалъ, какъ онѣ все холодѣютъ и холодѣютъ около его горла... Сѣрая жаба ползла по нимъ и впол-

зала на его тъло. Волосы зашевелились у него на головъ.

И вдругъ ему сдълалось все равно. Въ головъ поднялся какой-то шумъ, потомъ сталъ стихать и превратился въ какую-то пъсню.

Гдъто пълъ гондольеръ. Ему аккомпанировали волны, тихо плескавшіяся о мраморныя ступени дворцовъ. На черномъ бархатномъ небъ брильянтами сверкали звъзды. Луна дрожащимъ свътомъ посеребрила каналъ.

Венеція никогда не была такъ хороша, какъ въ эту минуту.

Пъло все: гдъ-то пълъ гондольеръ, пъли звъзды, пъло море, пълъ воздухъ, пълъ голубой лунный свътъ, лаская мраморные дворцы.

И эта чудная пъсня звучала все тише, нъжнъе... Тише и тише...

Все смолкло.



# 3 pumest.

## Зритель.

Это быль старый, скверный вагонь, какіе во всемь мірѣ сохранились только на французскихь желѣзныхь дорогахъ.

Крошечное отдъление на троихъ. Два мъста рядомъ, одно напротивъ.

Если я останусь одинъ, можно какъ-нибудь расположиться и заснуть. Но если явится еще пассажиръ...

И онъ явился.

Это былъ маленькій, щупленькій человѣкъ. Съ на-ружностью—какъ будто онъ страдалъ болѣзнью или, скорѣе, порокомъ, тайнымъ, скверпымъ и неизлѣчимымъ.

Съ погасшими глазами, страдальческимъ, испитымъ лицомъ, нервный дрожащій, подергивающійся.

Я поднялся.

Онъ воскликнулъ испуганно:

— Не безпокойтесь! Не безпокойтесь! Я помъщусь воть здъсь! Воть здъсь!

Откинулъ скамеечку и сълъ въ уголкъ напротивъ меня.

- Вы не далеко вдете?—спросиль я.
- Я вду до...

Онъ назвалъ станцію, куда поъздъ приходитъ въ половинъ седьмого утра.

— Но вамъ придется цълую почь! Садитесь рядомъ со мной!

Онъ снова заговорилъ торопливо, испуганно:

— Лежите! Лежите! Не безпокойтесь. Я все равно не сплю.

Я улыбнулся.

- Никогда?

Онъ улыбнулся въ отвътъ улыбкой, полной грусти и страданья.

- Никогла!
- Виноватъ... Что жъ это? Болфань?

Онъ вздохнулъ очень тяжело:

- Кажется, неизлъчимая.
- Простите мое любопытство... Но мнъ никогда не приходилось слышать... Давно вы страдаете?
  - Я не сплю уже два года.
  - Этого не можетъ быть!

Онъ пожалъ плечами.

- Я сплю, если это можно назвать сномъ, когда я истомленъ окончательно, я принимаю что-нибудь наркотическое. И лежу нѣсколько часовъ въ оцѣпенѣніи, съ головой, словно налитой свинцомъ. Какойто полусонъ, полубодрствованіе. Такъ, вѣроятно, лежатъ въ летаргическомъ снѣ... Ахъ, если бы это когданибудь перешло въ летаргію и меня похоронили!
  - Живымъ?
- Это лучше жизни! Задохнуться въ могилъ, быть задушеннымъ гробомъ—это лучше, чъмъ жить такъ, какъ я живу. Я иногда ночью мечтаю о томъ, что меня похоронили живымъ, въ летаргіи. Земля сыплется

на гробъ. Доски гроба трещать, ломаются, давять мив на грудь, душать меня. Я задыхаюсь... Я мечтаю объ этомъ.

Но что за причина такой странной болъзни?
Онъ посмотрълъ на меня страдальческими глазами.
Любопытство.

Затъмъ онъ словно спохватился:

- Нътъ! Нътъ! Объ этомъ не надо разсказывать... Вы... Я боюсь, что вы не захотите оставаться со мною въ купэ, уйдете... и мнъ начнетъ представляться...
- Ради Бога... Что вы говорите? Что представляться?
  - Не считайте меня сумасшедшимъ... Не уходите... Онъ говорилъ съ ужасомъ.
- Не бойтесь оставаться со мной... Я не безумный... Я только не могу спать... Э! Зачёмъ я проговорился!
- Но говорите до конца, и я даю слово, что ни въ коемъ случав не уйду, кто бы вы ни были...

Я разсмъялся.

— Хоть палачъ?

Онъ весь задрожалъ и посмотрълъ на меня съ ужасомъ.

- Что вы сказали?
- Я сказалъ... я сказалъ-"палачъ"...
- -- Нътъ! Я не палачъ!.. Я не палачъ!.. Я только любопытный...

Онъ сидълъ, весь съежившись, несчастный, пришибленный.

— Если вы требуете... если вы хотите... я скажу... Видите ли, два года тому назадъ со мной случилось песчастье: я пошелъ смотръть смертную казнь. За-

чьмь? Это всегда любопытно. Мы сидьли въ ресторань, въ Парижь, ужинали. Туть быль одинь журналисть. Онь сказаль, что сегодня рано утромь онь идеть на смертную казнь. Гильотинирують одного убійцу, заръзавшаго съ цълью грабежа. Я сказаль: "Воть бы интересно посмотръть!" Журналисть предложиль: "угодно?" Я быль радь и воспользовался.

Онъ засмъялся горькимъ смъхомъ.

— Мы шли быстро, боясь опоздать!.. Журналисту ужасно хотѣлось показать передъ постороннимъ, какой онъ вліятельный человѣкъ,—онъ поставилъ меня такъ близко къ гильотинѣ, что когда кровь, словно изъ спринцовокъ, брызнула двумя струями изъ перерѣзанныхъ сонныхъ артерій,—нѣсколько капель попало мнѣ въ лицо... и обожгли... такая кровь была горячая... мнѣ кажется, что она и сейчасъ еще жжетъ...

Онъ провелъ дрожащими пальцами по щекъ.

— Вотъ здѣсь...

И онъ посмотрълъ на свои пальцы, словно желая убъдиться, что на нихъ нътъ крови.

— Это было сфрымъ, пасмурнымъ, мрачнымъ утромъ... Я стоялъ, волновался, ждалъ... И вдругъ ворота тюрьмы отворились... И я увидълъ, какъ сторожа и люди въ цилиндрахъ тащатъ дрожащаго, бьющагося, упирающагося человъка, съ голой шеей... Онъ широко раскрытыми глазами глядълъ на гильотину... Ахъ, какой ужасъ былъ въ этомъ взглядъ! Мы всъ, здоровые, сильные, упитанные, убивали этого жалкаго, несчастнаго, дрожащаго человъка. Тащили на убой. Я бы кинулся бъжать,—если бы не стыдъ: "убъжалъ!" Его толкнули, онъ упалъ,—я видълъ какъ ножъ ръзанулъ по шеъ. Двъ тонкія струи крови вы-

летъли изъ переръзанной шен,—и передъ моими глазами, въ корзинъ съ опилками, нъсколько разъ перекувырнулась голова. Ея глаза моргали. Я видълъ, я видълъ...

Онъ зажмурился, вытянулъ дрожащія руки, защищаясь отъ чего-то, и повторялъ:

- Я видълъ... я видълъ... Если вамъ скажутъ, что голова не живетъ нъсколько моментовъ послъ смерти, не върьте, не върьте... Этого не знаетъ никто!
  - И, немного успоконвшись, онъ продолжалъ:
- Когда я пришель въ себя, я быль на другомъ концѣ Парижа. Какъ я зашелъ туда,—не знаю. Вокругъ сновали люди,—и, вы знаете, я съ ужасомъ смотрѣлъ на нихъ. Когда ко мнѣ приближался человѣкъ, мнѣ казалось, что вотъ сейчасъ его голова отлетитъ и покатится, моргая, крутясь въ крови... И что всѣ, всѣ головы сейчасъ полетятъ, закрутятся, заморгаютъ, покатятся мнѣ подъ ноги... Я смотрѣлъ на шеи мужчинъ, женщинъ, и мнѣ казалось, что вотъ сейчасъ, сейчасъ ударитъ гильотина... Когда я легъ, передо мной была голова, моргавшая, въ крови... Это была моя первая безсонная ночь.

Онъ помолчалъ.

— Я думаль, конечно, что это пройдеть... Но день за днемь, ночь за ночью это было все то же. Днемь я не могь видъть человъка, безъ того, чтобъ не представлять себъ, какъ толкають его шею въ отверстіе гильотины. Ночью я не видъль ничего, кромъ отрубленной головы, близко отъ моего лица,—отъ нея дышало мнъ въ лицо теплотой крови. И она, часто-часто моргая, смотръла мнъ прямо, прямо въ глаза... Я сказаль себъ: "Это оттого, что въ первый разъ". Надо

увидъть еще, — и впечатлъніе ослабнеть. Въ первый разъ мнъ померещилось черезчуръ много ужаса, во второй это покажется проще". Во Франціи...

Онъ снова улыбнулся горькой и страдальческой улыбкой.

— На мое несчастье, казни не было. Я прочель въ газетахъ, что предстоитъ въ Лондонъ, — и поъхалъ. Черезъ знакомыхъ я добился разрѣшенія присутствовать при казни въ качествъ журналиста. Вы бывали въ Лондонъ? Мнъ часто приходилось бывать по дъламъ. Я проходилъ мимо дверей Ньюгетской тюрмы,не подозрѣвая даже, что это тюрьма. Господи! Да она такъ стиснута добрыми, честными, обыкновенными домами, -- даже дворъ не отдъляеть ее отъ сосъдей. Стъна объ ствну. Въ то время, когда въ этой комнатв въшають, и человъкь корчится въ послъднихъ мукахъ, за стъной, быть-можеть, мать качаеть ребенка. Кто жъ подумаеть, что это тюрьма, устроенная спеціально для въщанья? Я проходилъ часто мимо этихъ дверей, ничего не подозръвая. Надъ ними торчитъ шестъ, - иногда пустой, иногда на немъ висълъ черный флагъ. Почемъ я зналъ, что это? У англичанъ такъ много странныхъ обычаевъ. Кто жъ могъ думать, что этотъ выкинутый черный флагъ означаетъ, что минуту тому назадъ за этими дверями повъсили человъка? Приговоренный входить въ эти двери и идетъ узенькимъ коридорчикомъ. Направо, налъво по стънамъ квадраты съ номерами, - это задъланы трупы его предшественниковъ. Крошечный дворикъ, ши нъсколько дверей. Однажды, послъ прогулки, его вводять не въ ту дверь, въ которую его вводили всегда въ его камеру. И тогда надъ главными дверями Ньюгетской тюрьмы появляется

черный флагъ. Нъсколько чиновниковъ, докторъ, палачъ, я, пасторъ, смотритель тюрьмы,—мы забрались въ эту страшную комнату за полчаса.

Осужденный гуляль на дворъ. Мы сидъли и молчали. Какъ вдругь внизу хлопнула дверь, послышался топотъ шаговъ по лъстницъ. И меня охватилъ ужась, когда всф начали подниматься со стульевъ. Когда осужденнаго ввели, и онъ насъ увидалъ, онъ сталь не бледнымъ, —нетъ, —белымъ. Какъ будто его ввели въ клътку къ дикимъ звърямъ. Мнъ показалось, что я вижу, какъ зашевелились волосы у него на головъ. Ни онъ ни я не слышали, что говорили эти люди. Какъ вдругъ это страшное лицо мелькнуло передо мной въ послъдній разъ. На него накинули саванъ. Теперь это былъ не человъкъ, а какой-то бълый мъщокъ, который шевелился. Привидъніе! Это привидение отвели на несколько шаговъ. Оно стояло, шаталось, шевелилось. Накинули веревку. Загремъло. Западня упала. И привидъніе, по кольно провалившись подъ полъ, быстро-быстро завертвлось, закрутилось. Онъ трепыхалъ руками, словно стараясь поднять ихъ къ шев и сорвать петлю. Видно было, какъ онъ часто-часто перебираетъ ногами, весь дергается. Пока, наконецъ, не повисъ, вытянувшись, дрогнувъ нъсколько разъ. И все еще крутясь. Крутился въ одну сторону, тише, тише, — на секунду останавливался и начиналъ крутиться въ другую, сначала медленно, потомъ все быстрве, быстрве, потомъ опять стихая, стихая, до полной остановки. Съ каждымъ разомъ онъ дълалъ все меньше и меньше поворотовъ, словно успокоивался. Наконецъ веревка перестала крутиться, и покойникъ въ длинномъ бъломъ саванъ повисъ почти неподвижно, дѣлая медленные повороты то въ ту, то въ другую сторону, словно желая насъ оглядѣть всѣхъ еще разъ. Оглядѣть теперь спокойно тѣхъ, на кого онъ нѣсколько минутъ тому назадъ смотрѣлъ съ ужасомъ, какъ на звѣрей, которые вотъ кинутся и растерзаютъ... Съ этой минуты я не могу оставаться одинъ. Мъѣ кажется, что передо мной виситъ длинный бѣлый мф шокъ и медленно поворачивается въ мою сторону... Я не могу видѣть, когда человѣкъ двигаетъ руками,—мнѣ кажется, что это онъ хочетъ сорвать петлю со своей шеи... Это ужасно. Страшнѣе этого только гај отта...

#### — Вы видъли и гаротту?

Онъ сидълъ, опустивъ голову, и отвъчалъ тономъ человъка, который признается въ преступлении.

— Я видълъ все. Безсонница меня измучила. Я ръшилъ: "надо привыкнуть. Нътъ ничего, къ чему бы человъкъ не привыкъ! Надо видъть десять разъ, сто, тысячу, - чтобы привыкнуть, привыкнуть, -и я буду спать! Я видёль все... Я ёздиль въ Америку смотрёть, какъ казнятъ электричествомъ. Говорятъ, что человъкъ умираетъ сразу. Можетъ - быть, можетъ - быть... Навърное... Можетъ-быть... Но это страшно, когда человъкъ четверть часа, сидя въ креслъ, стучитъ зубами, корчится въ судорогахъ, синветъ, чернветъ на вашихъ глазахъ. Мертвый? Можетъ-быть... Навърное... Можетъбыть... Но онъ бьется какъ живой... И вамъ все время кажется, что онъ живъ, мучится, борется, старается вырваться изъ ремней, которыми пристегнутъ къ креслу, старается сбросить съ головы страшную мълную каску. Вамъ кажется, что его сжигають передъ вами живымъ. И что живой, двигающійся человъкъ обугливается на вашихъ глазахъ... Нътъ, изъ Америки я вернулся еще въ большемъ ужасъ. И вся моя на дежда, вся была на то, что я привыкну. Привыкну, наконецъ! Я почти на колъняхъ стоялъ, умоляя офицера въ Алжиръ, умоляя хоть изъ-за дерева, спрятавшись, посмотръть, какъ будутъ разстръливать солдата. Я слышу этотъ трескъ, вижу, какъ вдругъ пошла вся красными пятнами бълая рубаха, передо мной, вотъ здъсь, на полу, вездъ, всегда лежитъ залитый кровью человъкъ, дергаясь, трепеща кистями рукъ, шевеля ступнями... Я не видълъ лицъ тъхъ которые убили. Они были закутаны дымомъ. Но солдаты затымь проходили передь трупомь, беря на караулъ передъ смертью. Шли стройно, ровно, спокойно, какъ всегда. Только глаза! Одни смотръли въ другую сторону, другіе зажмуривались, проходя мимо, блъдные, готовые, кажется, упасть, третьи въ ужасъ смотръли на трупъ, какъ смотритъ человъкъ въ пропасть, отъ которой не въ силахъ оторвать глазъ... Но страшнъе всего все-таки гаротта. Я видълъ въ Испаніи. Вы знаете, что такое гаротта? Металлическій обручь, привинченный къ столбу. Палачъ закручиваетъ винтъ,-и съ каждымъ поворотомъ обручъ все туже притискиваетъ шею къ столбу, -- давитъ все сильне. Глаза выльзають изъ орбить. Длинный - длинный языкь льзеть изо рта. Словно съ каждымъ поворотомъ все выдавливають изъ человъка. Трепещущія руки вытягиваются, корчащіяся ноги становятся необычайно длинными. Словно все это вылъзаетъ изъ туловища. И когда я вижу человъка, я представляю себъ: этого, какъ летитъ его голова, этого съ высунутымъ чернымъ языкомъ и вылъзшими изъ орбитъ глазами, того, какъ

онъ перебираетъ ногами и крутится на веревкъ, того, какъ онъ щелкаетъ зубами и чернъетъ, стараясь сбросить съ головы мъдную каску, которая его давитъ, того, какъ онъ лежитъ на землъ и дергается, залитый кровью. Люди для меня—страшные призраки. Я вижу ихъ всвхъ-всвхъ казненными. А почью меня окружають всв обезображенные трупы, которые я видель. обезображенные, оскверненные казнью! И я боюсь, боюсь сойти съ ума. Если эти образы останутся въ моемъ мозгу и въ больномъ воображении примутъ еще болъе реальную форму?! И жить съ ними, съ ними, ихъ чувствовать, видъть, осязать ихъ холодъ и липкую густую влагу крови. Нфтъ! Мнф страшно, мнф страшно сойти съ ума. Лучше пусть меня похоронять живымъ. и меня задушитъ крышка гроба, треснувшая, сломанная надавившей землей. Это въдь будетъ длиться только несколько минутъ... Скажите, какъ можетъ спать палачъ! Его совъсть спокойна, -- какъ совъсть тюремщика, какъ совъсть судьи. Слъдователь, прокуроръ, судья, тюремщикъ, палачъ-все это звенья одной и той же цёпи, которая называется правосудіемъ. И палачъ можетъ спать, совъсть не подпуститъ къ нему ни одного призрака. Онъ исполнилъ велъніе закона, онъ совершилъ актъ правосудія. Какъ задушить совъсть? И за что она меня мучить? За то, что я смотрълъ, какъ убиваютъ, изъ любопытства. Если это будеть моею обязанностью? Если я буду исполнять свой долгъ? Палачи спятъ. Я буду, буду тогда спать. И, узнавъ, что въ Англію требуется палачъ, я подалъ заявленіе, что хочу занять эту должность.

— Вамъ не удалось? Онъ покачалъ головой.

- -- Въ наше время борьба за существованіе такъ сильна. Оказалось, что раньше меня ужъ записалось три кандидата. Одинъ врачъ, хирургъ безъ практики. У него большая семья. Одинъ поэтъ-декадентъ, ищущій сверхъ-человъческихъ ощущеній. И журналистъ. По порученію редакціи, онъ леталъ на воздушномъ шаръ, взвелъ на себя небывалое преступленіе и пробылъ два года на каторгъ, теперь ищетъ мъста палача, чтобы снова описать читателямъ свои впечатлънія. Конкуренція между газетами велика, какъ и вездъ.
  - И вы?
- Мнѣ остается одно: смотрѣть, смотрѣть и ждать, когда же,—на сотомъ, на двухсотомъ трупѣ,—я привыкну. Я ищу свой сонъ. Я мечусь по всѣмъ странамъ. Съ эшафота на эшафотъ. Гдѣ я,—тамъ, значитъ, предстоитъ казнь.
  - Вы влете въ...
- Поъздъ приходитъ туда въ половинъ седьмого, а гильотинированье назначено въ семь. Я боюсь, чтобы поъздъ не опоздалъ. Казни теперь все ръже и ръже...

Овъ умолкъ и сидълъ въ углу, тщедушный, жалкій,—словно огромная, голодная хищная птица, ожидающая падали.

Стукъ колесъ и покачиваніе поъзда усыпили меня. Когда я проснулся, поъздъ стояль въ...

Это крошечная станційка въ полуверсть отъ города. Вставало сърое, пасмурное утро.

За низенькой изгородью изъ кустарника, въ двухъ шагахъ отъ поъзда, мой спутникъ нанималъ таратайку, съ отчаяніемъ жестикулируя и что-то объясняя извозчику.

Поъздъ тронулся.

Я видълъ, какъ мой ночной спутникъ вскочилъ въ таратайку, и какъ она, поднимая облака пыли, вскачь поскакала по направленію къ маленькому городку.

И среди этой пыли чернъла сгорбившаяся спина человъка, боявшагося опоздать на казнь.

Словно онъ сгорбился, чтобы удобнъе все время смотръть на часы.

И при мысли о томъ, что гдъ-то тамъ, какому-то неизвъстному мнъ человъку съ каждой секундой все меньше остается жить,—мнъ стало страшно одному въ купэ.

Я вынуль часы и съ ужасомъ смотрълъ, какъ стрълка приближалась, приближалась, приближалась къ семи.

Какъ быстро она шла.

И мит хоттось крикнуть ей:

— Стой!

И я чувствовалъ безпомощность, страшную безпомощность, которая меня разбивала.



# СЛУЧАЙ.

## Случай.

Я проснулся въ ужасъ.

Въ безотчетномъ ужасъ, который иногда почему-то охватываетъ васъ ночью, и вы, какъ ребенокъ, дрожите въ темнотъ.

Мнъ снился сонъ.

Женщина переходила черезъ улицу. Какъ вдругъ камни мостовой провалились подъ ея ногами, и земля быстро начала засасывать женщину.

Женщина страшно крикнула. Разъ, два...

И я въ ужасъ проснулся.

Что это? Слышалъ я во снъ или, дъйствительно, меня разбудилъ женскій крикъ?

Я вскочиль, отперь дверь и выглянуль въ освъщенный коридорь.

Черезъ номеръ отъ меня дверь тоже отворилась, и выглянулъ жилецъ, въ одномъ бѣльѣ, съ перепуганнымъ лицомъ.

Значить, мит не приснилось! Онъ тоже слышаль! Кругомъ было тихо.

Мы на цыпочкахъ подошли къ двери средняго номера и, затанвъ дыханіе, прислушались.

Изъ номера послышался поцълуй. Звонкій, вкусный.

Мы оба плюнули.

Разсмъялись безъ звука, кивкомъ головы пожелали другъ другу покойной ночи и тихонько, на цыпочкахъ, разошлись, улыбаясь и покачивая головой, по своимъ комнатамъ.

Но мнъ не спалось.

Какая безпокойная ночь!

Когда я засыпаль, мит показалось, что кто-то пробуеть отворить дверь.

И вотъ теперь...

Я чиркнулъ спичкой и закурилъ папиросу.

Словно въ отвътъ на шумъ, за стъной опять раздался поцълуй. Еще и еще.

Безъ конца!

Въ нихъ слышались то страсть и зной, то тихо звучала нъжность, то говорила благодарность.

Это меня забавляло. Мнъ хотълось бы смъяться. Но странно!

Что-то гнетущее было разлито въ воздухъ. Темнота словно была наполнена тяжелыми предчувствіями.

За ствной раздался разговоръ.

Собственно, не разговоръ. Говорилъ только мужчина. Женскаго голоса я не слышалъ.

Мужской голосъ говорилъ:

— Да говори громче! Я ничего не слышу!

И послъ паузы:

Увъряю тебя, они ничего не слышать. Они спять.

Опять поцелуй.

Затъмъ — шаги.

— A? Что? Достать тебь платокь? Сейчась поищу. Гдь онь? Здьсь? Здьсь ньть. Вь этомь чемодань?

Замки щелкали. Слышалось туршанье.

— И здіть ніть. Въ этомъ?.. И здіть ніть. Но гдіт же? Гдіт же? Гдіт же?

Въ голосъ слышалось сильное раздражение.

— Въ большомъ сундукъ? Но гдъ же ключи?.. Ахъ, Боже мой,—ну, гдъ же ключи?.. Ты хочешь, чтобъ я сломалъ замокъ?

Маленькая пауза.

— Изволь. Если ты такъ хочешь.

Раздался легкій трескъ, стукъ ящиковъ, которые спъшно вынимали, шуршанье, — словно все выкидывали на полъ. Потомъ радостный возгласъ, почти крикъ:

— A! Вотъ!

Опять поцёлуй.

И все затихло.

Тишина стала еще болъе гнетущей.

Не знаю почему, но я былъ такъ взволнованъ, что слышалъ удары своего пульса.

Мужской голосъ заговорилъ снова.

-- Воды? — спросилъ онъ. — Сейчасъ я тебъ дамъ воды... Представь, моя крошка, — въ графинъ ни капли. Дура горничная позабыла налить! Прислуга въ этихъ отеляхъ!.. Что? Очень хочется пить? Херошо! Я схожу понщу, гдъ у нихъ тутъ вода...

Хлопнула дверь.

Не знаю почему, движимый какимъ-то смѣшнымъ, дѣтскимъ любонытствомъ, я вскочилъ, тихонько пріотворилъ чуть-чуть свою дверь и въ щелочку выглянулъ въ коридоръ.

Я видълъ только вслъдъ быстро удалявшагося мужчину въ шляпъ, сдвинутой на лобъ, съ подня-

тымъ воротникомъ пальто, сгорбившагося, съежившагося.

Видно, его пробиралъ предутренній холодъ.

И затъмъ все снова стало тихо.

Прошло десять минутъ, прошло двадцать. Мужчина съ водой не возвращался.

Въ сосъднемъ номеръ было тихо-тихо.

Прошло полчаса. Три четверти.

Я лежаль на кровати, дрожа всемь теломь.

Страхъ росъ, росъ во мнъ.

Кругомъ ни звука. Словно всѣ въ этомъ домѣ умерли.

Страхъ мало-по-малу переходилъ въ ужасъ. Меня колотила лихорадка. Зубы стучали.

Мнъ хотълось крикнуть дикимъ голосомъ, выбъжать въ коридоръ, созвать прислугу, разбудить жильцовъ. Зачъмъ?

Что я имъ скажу?

Что какой - то господинъ долго ходитъ за водой? Что я боюсь одинъ въ комнатъ?

Боязнь показаться смѣшнымъ, показаться глупымъ показаться сумасшедшимъ удерживала меня, и я ле жалъ, словно прибитый гвоздями къ постели, прико ванный ужасомъ,—не смѣя пошевелиться.

А время тянулось медленно-медленно.

И мужчина не возвращался.

И все было тихо въ этомъ словно вымершемъ домѣ. Засъръ́лъ разсвътъ.

Свътъ какой-то сърый и мрачный, и грязный, ползъвъ окна и наполнялъ комнату.

А онъ все не возвращался.

И кругомъ было тихо, какъ въ могилъ.

"Скоръй бы день! Скоръй бы день!" съ тоской думалъ я, чувствуя, что мой ужасъ все растеть и растеть.

Первый звукъ, раздавшійся въ домѣ,—гдѣ-то хлопнули дверью,—оживилъ меня.

Я вскочиль, какъ безумный, и позвониль долго, настойчиво, тревожно.

Нѣсколько минутъ молчанія, и раздалось шлепанье туфель.

Я слышаль, какъ коридорный щелкнуль номераторомъ электрическаго звонка, какъ что-то пробормоталь, зъвнуль и медленно, нехотя шель къ моей двери.

Вотъ когда секунды казались въчностью. Скоро ли онъ дойдетъ?

И едва дверь отворилась, я встрътиль его лицомъ къ лицу въ дверяхъ, такъ что онъ даже пошатнулся.

- Что угодно, monsieur?
- Кто живетъ въ сосъднемъ номеръ? Вотъ здъсь! Заспанный лакей посмотрълъ на меня удивленно и злобно.
- Какая-то англичанка. Прі**вха**ла вчера. Что угодно, monsieur?
  - Она замужемъ? Скажите, она замужемъ?

Лакей смотрълъ на меня все изумленные и изумленные.

- Почемъ же мнѣ знать, monsieur? Monsieur задаетъ такіе странные вопросы! Въ шестомъ часу утра! Изволите безпокоить...
  - Я васъ спрашиваю!..
  - Прівхала одна!
  - У нея быль сегодня ночью мужчина!

Лакей посмотрълъ на меня, какъ на сумасшедшаго, пожалъ плечами и повернулся:

- У нея? Старуха, лътъ семидесяти!
- Въ такомъ случав...

Я схватиль его за рукавъ.

— Въ такомъ случав, сейчасъ же войдите въ этотъ номеръ!.. Тамъ что-то странное... Я не знаю... Тамъ что-то произошло...

У меня зубъ не попадалъ на зубъ.

Лакей старался освободить свою руку. Онъ быль окончательно золъ.

— Но какъ я смъю, monsieur? Итти къ дамъ, когда она спитъ!

Но я не отпускалъ его. Я наступалъ:

Идите... Я отвъчаю... Я вамъ говорю, тамъ... тамъ что-то странное.

Моя тревога мало-по-малу передавалась и ему. Но онъ все еще пожималъ плечами.

— Какъ я могу?.. Какой вы странный, monsieur... Да и дверь, въроятно...

Онъ тронулъ дверь. Она отворилась.

Лакей нъсколько моментовъ въ сомнъніи постояль на порогъ. Потомъ тихонько вошелъ.

Прошла секунда, другая— и изъ номера раздался крикъ, полный ужаса.

#### — Ай!

Лакей вылетьль въ коридоръ, трясущійся, бльдный, какъ полотно, съ искаженнымъ лицомъ.

— Тамъ... Она... Ай!.. Полицію... Управляющаго... Онъ кинулся за управляющимъ.

Словно какая-то неудержимая сила меня тянула Я пошелъ въ номеръ. Полъ былъ заваленъ раскры-

тыми чемоданами, выброшенными вещами. Я споткнулся обо что-то, падая, схватился за кровать и очутился лицомъ къ лицу...

Я закричалъ дикимъ голосомъ, зашатался, меня словно выбросили изъ комнаты.

На кровати лежала желтая, словно восковая, фигура съ широко раскрытыми стеклянными глазами, — старуха съ переръзаннымъ горломъ.

Кровь темнымъ, — мнъ показалось, чернымъ, — пятномъ покрывала край простыни.

Лужа крови чернъла на ковръ около кровати.

Двери хлопали.

Разбуженные моимъ крикомъ, неодътые жильцы съ испуганными лицами выглядывали изъ дверей.

— Что случилось?.. Что случилось?..

Я очнулся, — меня трясъ за руку сосъдъ, съ которымъ мы ночью подслушивали и смъялись около двери.

Онъ тоже заглянулъ въ номеръ старухи и тоже вылетълъ оттуда въ ужасъ.

Онъ трясъ меня за рукавъ, широко, въ ужасъ, безсмысленно раскрывъ глаза, и, не попадая зубъ на зубъ, повторялъ:

— Я тоже не спалъ всю ночь... Я тоже не спалъ всю ночь...

Сбъжалась вся гостиница.

Явилась полиція.

Швейцаръ слышалъ только, что ночью кто-то постучалъ къ нему въ дверь. Онъ, какъ всегда, дернулъ за цъпочку, отворилъ входную дверь. Стучавшій вышелъ, и дверь за нимъ захлопнулась.

На тротуаръ, въ двухъ шагахъ отъ гостиницы, нашли платокъ, о который вытирали окровавленныя руки. Вотъ и все.

Гостиница расположена на углу площади. Отъ площади по всъмъ направленіямъ разбъгается десятокъ улицъ. Дальше каждая изъ нихъ дълится на двъ, на три. Тъ дълятся опять, скрещиваются, перекрещиваются.

И въ этомъ лабиринтъ убійца исчезъ безслъдно, навсегда.

Разумъется, обыкновенный грабитель, забравшійся съ вечера въ гостиницу, гдъ-нибудь притаившійся до ночи, а затъмъ вошедшій въ тотъ номеръ, который позабыли запереть.

И управляющій, блѣдный, растерянный, говориль съ укоромъ намъ всѣмъ, — словно мы были виноваты въ случившемся съ нимъ несчастіи:

— Ахъ, господа, всегда надо запирать двери! Какъ вы такъ, право!..

И жильцы стояли подавленные, словно, дъйствительно, въ чемъ-то виноватые.

Больше всъхъ былъ подавленъ, больше всъхъ былъ растерянъ сосъдъ, съ которымъ мы ночью смъялись у двери, гдъ въ это время совершалось преступленіе.

- Но позвольте! Какъ же такъ? бормоталъ онъ.— Я самъ... понимаете, самъ!.. Я слышалъ поцълуй! Ясно слышалъ поцълуй! Поцълуй!
- Какъ будто нельзя цѣловать собственную руку!— вскользь замѣтилъ одинъ изъ лакеевъ, взглянувъ на него искоса, пожимая плечами, полный презрѣнія къ человѣческой недогадливости.
- Вы бы легли, monsieur! На васъ лица нътъ! замътилъ мнъ кто-то.

— А мнъ представлялось то, какъ убійца быстро уходить по коридору, поднявъ воротникъ, нахлобучивъ шляпу, сгорбившись, съежившись, словно дрожа отъ холода, то, какъ онъ, стоя около трупа, цълуеть себъ руку, чтобъ обмануть проснувшихся сосъдей.

Онъ давалъ концертъ на поцълуяхъ.

Настоящій концертъ.

Придавая имъ всъ оттъпки, — отъ безумной страсти до тихой нъжности.

Заставляя ихъ звучать то громко, то тихимъ шопотомъ любви, обожанія, то благодарностью за счастье.

А въ это время около лилась кровь изъ переръзаннаго горла, промачивала матрацъ, струйкой стекала и крупными тяжелыми каплями падала въ темную лужу на ковръ.

А онъ давалъ свой концертъ.

И этотъ концертъ давался для меня.



## Жельзходорожхая семья.

### Жельзнодорожная семья.

- Слышали? Жанна выходить за старшаго Жако!
- Да неужели?!
- Увъряю васъ.
- Вотъ ей счастье!
- Незаконнорожденнымъ всегда счастье!
- Ну, положимъ, счастье не особенно велико!

Такъ говорили немногіе, по большей части легкомысленная молодежь.

Но ихъ строго останавливали старшіе:

- Для бъдной дъвушки, какъ она, конечно, счастье! Семья Жако...
- A, извъстные желъзнодорожники! съ уваженіемъ говорили окрестные крестьяне.

Жако—самая зажиточная семья въ округъ. У нихъ великолъпный домъ около самаго полотна желъзной дороги.

Желъзнодорожная компанія предлагала имъ переъхать подальше и даже согласна была купить для нихъ небольшую ферму.

Но глава семьи, Жако, съ достоинствомъ отвъчалъ:

— У всякой семьи есть свои преданія! Мы остаемся здѣсь, гдѣ жилъ нашъ отецъ. Здѣсь умерь онъ,— здѣсь покоятся части нашихъ тѣлъ!

У Жако десятокъ лошадей, молочная ферма, 200 овецъ, цълое стадо свичей. Они выкармливаютъ для продажи пулярокъ. У нихъ хорошій виноградникъ, Жако даютъ деньги взаймы и берутъ хорошіе проценты.

— Семья, какихъ мало!—говоритъ самъ префектъ.— Жако знаютъ всъ.

Семья Жако состоить изъ пяти человъкъ: старикъ Жако, супруга Жако и трое сыновей. У нихъ у всъхъ пять ногъ и пять рукъ.

- О, Жако тонко знають свои дѣла! говорять про нихъ съ завистью крестьяне.
  - Они идутъ прямымъ путемъ къ богатству!
- Вы увидите, что ихъ внуки будутъ ходить на двухъ ногахъ и ъсть объими руками.

Начало благосостоянію семьи Жако положиль отець стариковъ, Франсуа.

Портретъ этого "истиннаго родоначальника фамилін" красуется въ парадной компатъ дома Жако. Его писалъ одинъ художникъ изъ Парижа, высаженный за неимъніе билета на ближайшей станціи и никогда не видавшій покойника. На портретъ изображенъ Макъ-Магонъ съ благороднъйшимъ выраженіемъ лица. Этимъ портретомъ очень гордятся.

- Таковъ былъ папаша.
- Жизнь его являетъ очень поучительный примъръ! — говоритъ старикъ Жако.

Онъ былъ страшнъйшимъ пьяницей.,

— Онъ не только не увеличиль того, что ему досталось, но истратиль и то, что было! — съ грустью вспоминають про "родоначальника фамиліи".

Въ пьянствъ онъ не зналъ границъ и мъры.

Такого пьяницы еще не бывало!

- Онъ продаль за пятьдесять франковъ корову, стоившую двъсти!—со слезами вспоминаеть старуха Жако.
- Да! И пропилъ эти деньги! подтверждаетъ старикъ Жако, разсказывая поучительную исторію своего отца. За пятьдесятъ франковъ корову, которая стоила по меньшей мъръ, по меньшей мъръ двъсти!

Сорокъ два года семья не можетъ забыть о коровъ. Память о ней живетъ въ третьемъ поколъніи.

— Но, — тутъ голосъ старика Жако звучить торжественно, — своей смертью онъ искупиль все! Онъжиль, какъ великій гръшникъ, и умеръ, какъ дай Богъ умереть всякому христіапину! Осчастлививъсвоихъ дътей!

Однажды старикъ Франсуа, по обыкновенію пьяный какъ стелька, переходилъ черезъ рельсы, какъ вдругъ изъ-за крутого поворота вылетълъ курьерскій поъздъ, шедшій изъ Ліона.

Свистъ, отчаянный крикъ,—и на полотиъ, когда пронесся поъздъ, лежали двъ половинки старика Франсуа.

— Онъ быль разръзанъ изумительно! Вдоль и пополамъ! Хоть на въсахъ свъщайте! Двъ совершенно равныя половинки! Какъ апельсинъ! Даже голова разръзана пополамъ! Въ этомъ нельзя было не видъть знаменія!

За задавленнаго старика желъзнодорожная компанія должна была заплатить десять тысячь франковъ.

И старикъ Жако — тогда еще молодой человъкъ сказалъ своей женъ:

— Старуха, надо быть невърующимъ, чтобъ не видъть въ этомъ особаго указапія! Старуха, ты видишь перстъ? Старуха Жако — тогда еще молодая женщина — затряслась отъ благоговънія и прошептала:

- Вижу!
- Старуха, такія чудеса встрѣчаются только въ описаніяхъ жизни святыхъ. Всю жизнь человѣкъ жилъ великимъ грѣшникомъ, а умеръ праведникомъ! десять тысячъ франковъ! Старуха, намъ указанъ путь къ благосостоянію нашей семьи.

И черезъ недълю изъ-подъ колесъ вечерняго курьерскаго поъзда раздался страшный вопль.

Madame Жако кувыркалась въ крови безъ лѣвой ноги.

"Случившійся" неподалеку Жако бросился въ деревню за фельдшеромъ, тотъ сдълалъ перевязку.

И желъзнодорожная компанія безъ особыхъ споровъ заплатила Жако за отръзанную ногу восемь тысячъ франковъ.

— Мы заплатили бы больше, но въдь, согласитесь, съ потерей одной, —всего одной ноги, — madame не потеряла полной способности къ труду!

Лъвая нога madame Жако была погребена въ саду. Черезъ четыре мъсяца madame Жако выздоровъла и очень быстро ходила на деревяжкъ.

А черезъ четыре мъсяца и пять дней послъ несчастнаго случая съ madame Жако по проходъ вечерняго курьерскаго поъзда на полотнъ валялся въ крови, безъ правой ноги, monsieur Жако, крича и проклиная желъзную дорогу:

— Которая только и дълаеть, что давить людей, не давая даже предупредительных свистковъ, что совсъмъ не по правиламъ!

"Случившаяся" точно такъ же поблизости madame Жако сбъгала за фельдшеромъ. Фельдшеръ сдълалъ перевязку.

Желъзнодорожная компанія заплатила на этотъ разъ двънадцать тысячь франковъ. И такимъ образомъ установилась такса.

Нога — восемь тысячъ франковъ.

Рука — двънадцать тысячъ.

Правую руку monsieur Жако положили подъ тъмъ же вишневымъ деревомъ, рядомъ съ лъвой ногой madame Жако.

А черезъ шесть мъсяцевъ въ землю пошла и правая рука madame.

Жако сказалъ садовнику, которымъ онъ уже успълъ обзавестись:

— Вотъ по этой линіи отъ этого дерева вы ничего не садите, кромъ цвътовъ. Никакихъ деревьевъ, никакихъ кустовъ. Это мъсто намъ понадобится!

Дъти Жако подрастали, и когда достигали совершеннольтія, "части ихъ тълъ", какъ называлъ Жако, укладывались на лужайкъ.

Часто старики Жако, ковыляя вечеромъ въ саду на костыляхъ, заводили споръ по поводу маленькихъ холмиковъ, покрытыхъ цвътами.

- . Здъсь лежить лъвая нога Жака!
- Ну, вотъ еще! Тутъ правая нога Пьера. Жакова нога дальше! Жакова нога была ужъ позднъе даже Жозефовой руки!
- Ты правъ! А вотъ тутъ моя рука! Но гдѣ же Пьеровы пальцы?

Пальцы — это было уже усовершенствование въ дълъ, выдуманное старикомъ Жако.

На первый разъ Пьеру удалось удивительно ловко выскочить изъ-подъ поъзда. Ему отръзало только три пальца на правой рукъ.

Только шесть мфсяцевъ спустя онъ попалъ такъ несчастно, что ему ужъ совсъмъ отрфзало начисто руку.

Жельзнодорожная компанія сначала заплатила три тысячи франковъ "за частичное лишеніе способности къ труду", а потомъ уже двънадцать тысячь за полное лишеніе правой руки.

Такимъ образомъ рука принесла пятнадцать тысячъ франковъ.

Но, къ сожалънію, Пьеръ былъ младинмъ сыномъ, и удачная мысль пришла въ голову слишкомъ поздно.

Въ общемъ, практикой была выработана такая система.

Жако "ръзались" накрестъ: правая рука и лъвая нога.

— Это необходимо для правильной циркуляціи крови,— объясняль старикъ Жако,—этимъ избъгается односторонность!

И добрый деревенскій врачъ поддакиваль:

— Совершенно върно! Конечно, съ медицинской точки зрънія это все-таки лучше!

Жако отлично знали, и когда онъ являлся въ желъзнодорожную компанію за вознагражденіемъ за увъчье, тамъ посмъивались:

— Ну, monsieur Жако, не найдется ли у васъ еще лишней ноги?

На что Жако отвъчалъ строго:

— Надъ чужими несчастіями, сударь, не смѣются. Это запрещаетъ Господь.

Итакъ, въ деревнъ прошелъ слухъ, что Жанна, безприданница Жанна, незаконнорожденная Жанна выходитъ за Жозефа, старшаго сына Жако.

Жанна была красивая и здоровая дъвушка,--кровь съ молокомъ.

— Главное, что здоровая!— съ любовью говорила о пей старуха. — Для насъ это самое важное!

Замужество Жанны вызвало массу толковъ.

- За самаго богатаго жениха въ селъ! Везетъ этимъ незаконнорожденнымъ.
  - Ну, не велико счастіе! фыркала молодежь.

Но Анатоль Жофруа, служившій въ солдатахь и имъющій даже политическія убъжденія, остановиль недовольныхь:

— Желъзная дорога и все прочее есть не что иное, какъ цивилизація. Цивилизація существуетъ для блага общаго. Должны же, чортъ возьми, и мы пользоваться какими-нибудь благами отъ цивилизаціи! Буржуа летитъ въ курьерскомъ поъздъ! Должно же что-нибудь перепасть и на долю бъдняка, домъ котораго осыпаютъ искрами и обдаютъ дымомъ. Въдь не для однихъ же богатыхъ, чортъ побери, существуютъ желъзныя дороги! Надо и бъдняку пріобіцить себя къ благамъ цивилизаціи!

Послъ этого всякіе разговоры стихли.

— Жофруа правъ! Это человъкъ съ политическими взглядами!

Свадьбу справили сейчась же послѣ Рождества. И справили съ пышностью.

Вся семья Жако, разодфтая по-праздничному, ковыляла на деревяжкахъ, и только одна Жанна шла двумя ногами и утирала слезы двумя руками.

По окончаніи вѣнчанія кюре обратился къ Жаннѣ съ проповѣдью на тему "довольствуйтесь малымъ".

— Жанна, — сказалъ онъ, — вы бъдная дъвушка, и Небу угодно было взыскать васъ за вашу бъдность и за вашу чистоту, невзирая даже на ваше гръшное

происхожденіе. Вы зачаты відь въ гріхів, Жанна! Но Небу угодно было не обратить вниманія на это. Вы входите, Жанна, въ самую почтенную и самую состоятельную семью нашего прихода. Постарайтесь быть достойной ея, Жанна. Вы будете жить въ богатствъ, но никогда не забывайте правила: довольствуйтесь малымъ. Блестящій примъръ этого вы видите въ той семьв, въ которую вы нынв вступаете, Жанна. Вся семья Жако всегда въ скромности своей довольствовалась меньшимъ, чъмъ довольствуемся мы, прочіе гръшные люди. Они довольствуются всего одной ногой и всего одной рукой! Вотъ примъръ довольства малымъ! И Небо невидимо награждаетъ ихъ. Посмотрите на ихъ виноградинки, на ихъ сады, на ихъ стада-и умилитесь! Такъ награждается, дъти мои, скромность, такъ награждается довольство малымъ!

Глубоко тронутый, старикъ Жако даже прослезился, слушая проповъдь, и по окончаніи подковыляль къ кюре на своей деревяжкъ:

— Вы отлично говорили! Даже меня прошибла слеза, а я видалъ виды, — согласитесь! Вотъ вамъ, кромъ условленнаго за вънчаніе, еще сто франковъ. Украшайте церковь. Благодарю васъ за то, что вы внушаете добрыя мысли молодежи!

Свадебный столь отличался изобиліемь, и когда молодая взялась за ложку, старикь Жако всталь и торжественнымь голосомь, при общихь одобреніяхь, сказаль:

— Эге! Возьми-ка ложку въ лѣвую руку, моя милая Жанна! Въ лѣвую! Семья крѣпка преданіями! А въ семьѣ, куда ты входишь, дитя мое, всѣ ѣдятъ лѣвой рукой — за неимѣніемъ правой!

Гости закричали "ура", а старуха Жако со слезами обняла Жанну и, прижимая ее лъвой рукой къ сердцу, сказала:

— Привыкай ъсть лъвой рукой, дитя мое! Это твой первый опыть!

У Жанны, похолодъло сердце.

Жаннъ жилось великолъпно.

Она отлично ѣла, прекрасно работала, и единственное—что на нее покрикивали:

— Жанна, не работай правой рукой! Правая тебъ ни къ чему! Пріучайся все дълать лъвой!

И на нее смотръли съ любовью.

— Ты бы подвязала Жаннъ правую руку, — говорилъ женъ старикъ Жако, — скоро время.

Старуха Жако ласково прибинтовывала Жаннъ правую руку:

— Зачъмъ тебъ она? Ты посмотри, какъ безъ нея удобно! Легко! Ничего лишняго! Дай я тебъ подвяжу, чтобъ эта дрянь не болталась!

И она цъловала Жанну.

- Готовься, готовься, дитя мое! Ты скоро принесешь приданое своему мужу! двънадцать тысячъ франковъ! Жанна взлыхала:
- Маменька, разбинтуйте! Я чувствую какую-то неловкость въ правой рукъ. Разбинтуйте!

И вся семья съ радостью восклицала:

— Не долго ужъ, не долго потерпъть, Жанночка! Вотъ ты ужъ и сама чувствуещь, что она тебъ мъшаетъ!

Настала весна, и старикъ Жако сказалъ однажды, съ любовью глядя на руки и ноги Жанны:

- Пора ужъ у Жанночки обстричь купончикъ!

Жанна зарыдала и кинулась въ ноги старикамъ:

— Я буду работать, сколько угодно! Я буду работать за двоихъ, за всъхъ! Не троганте меня!

Но старикъ нахмурился:

- Вотъ еще глупости! Что мы за милліонеры такіе, чтобъ имъть по двъ руки и по двъ ноги?! Прихоть не по карману! Мы люди бъдные, впору имъть необходимое. А роскоши заводить пе къ чему!
- Будемъ благоразумны, сказалъ ей мужъ, лаская Жанну лъвой рукой, будемъ благоразумны, моя жизпь, мое счастье! Въдь должна же ты принести мнъ приданое? Не такъ ли? Ну, что за охота, чтобы вся деревня говорила про тебя, что ты безприданница? Я не хочу, чтобы о моей женъ говорили дурно!
- Да и, наконецъ, это безобразіе! протестовали младшіе братья. Вся семья обходится деревяжками, съ какой же стати она одна будетъ отпускать себъ руки и ноги?! Если такъ, мы тоже женимся и тоже не позволимъ трогать нашихъ женъ! Хороша будетъ семья! Рукастая! Ногастая! Куда ни плюнь, вездъ торчитъ рука или нога! Тфу!
- Даже непріятно смотръть! Висятъ лишнія вещи!— поллакиваль отецъ.

А мать, обнимая Жанну, уговаривала:

— Ты себъ представить не можешь, Жанночка, какая это прелесть безъ руки, безъ поги! Какое облегчение! Ложишься въ постель — словно безилотный духъ! Ничего не чувствуещь! Одинъ воздухъ! Ахъ, какъ хорошо!

Жанна плакала, и на семейномъ совътъ было ръшено:

— Пусть лѣто съ рукой проведетъ! Пусть пощеголяетъ! Женщина молоденькая! Пусть пофрантитъ! Кстати не рабочее время. Но осенью...

Сентябрь забрызгаль мелкимъ дождемъ, и однажды, когда всъ съли за объдъ и Жанна взялась за ложку, свекровь остановила ее съ нъжностью:

— Для тебя, Жанночка, приготовлено особо! Получше!

И поставила на столъ жареную баранью ногу.

— Теперь тебъ надо кушать получше! Эти двъ недъли!

У Жанны затряслись руки и ноги.

Никогда Жанит не снилось, чтобы въ людяхъ было столько итжности.

Вся семья ходила поутру на цыпочкахъ:

— Тсъ! Жанна спитъ! Жаннъ нужно теперь набираться силъ!

Объдъ Жаннъ вызывалъ горячіе споры.

- Баранины ей! Баранины! говорилъ старикъ Жако. — Что за бъда! Приръзать еще барана!
- Супъ изъ бычачьихъ хвостовъ—очень-очень питательная вещь!
  - Гусь хорошо помогаетъ женщинамъ!
  - Дапте еп гуся! Молока! Янцъ! Масла!

Оставаясь одна, Жанна цъловала свою правую руку.

Какъ нарочно, безъ работы, рука стала такой бѣлой, нѣжной и красивой. Сквозь тонкую кожу просвѣчивали голубенькія жилки. Жанна припадала къней со слезами и цѣловала, цѣловала, цѣловала свою руку.

Голова у нея шла кругомъ, и иногда у Жанны являлась безумная мысль:

"Взять ножь и самой отръзать себъ руку. Самой! И бросить ее старикамъ!"

Въ одну изъ такихъ минутъ ее застала старуха Жако. Лицо у Жанны было такое страшное, что старуха поняла ея мысль. Затряслась и поблъднъла.

— Что ты думаешь сдълать? Не смъй, не смъй и думать объ этомъ! Ты насъ разоришь!

Жанна разрыдалась.

- Маменька, да въдь какъ больно-то будетъ!
- Но старуха съ ласковой улыбкой обняла ее:
- Глупенькая моя! А какъ же рожаютъ-то?

За ужиномъ старикъ Жако съ любовью глядълъ на расписаніе поъздовъ, которое, какъ святыня, въ рамкъ висъло на стънъ, и говорилъ, указывая на поъздъ, подчеркнутый краснымъ карандашомъ:

— Вотъ нашъ поъздъ!

И однажды, послъ ужина, старикъ поднялся и сказалъ, взглянувъ на часы:

— Половина девятаго. Жанна, идемъ!

Жанна кинулась на поль, она хватала всёхъ Жако за уцёлёвшія ноги, за деревяжки, цёловала ноги, цёловала деревяжки:

— Ну, подождемъ коть до пассажирскаго повзда! Еще полчаса!

Старикъ Жако отрицательно покачалъ головой:

— У всвхъ есть свое самолюбіе, дитя мое! Насъ всегда давиль курьерскій повздь, — зачвмь же ложиться подъ какой-то пассажирскій, когда есть курьерскій! Изъ вагоновъ перваго класса, — ты только подумай! Да курьерскій п лучше. Курьерскій пролетаеть

по рукъ стрълой, а пассажирскій, — жди тамъ, пока протащится! Курьерскій — одна прелесть! Коротко и скоро. Ты не успъешь опомниться, — чикъ, и готово! Какъ ноготь обстричь. Идемъ, Жанна, пдемъ!

— Ой-ой-ой!—вопила Жанна. — Хоть пьяною меня напойте!

Но старики расхохотались:

— Ахъ, молодость, молодость! Да въдь если отъ тебя будетъ пахнуть абсентомъ, это ужъ будетъ собственная неосторожность!

И старикъ Жако прибавилъ строго:

— И къ тому же, что скажутъ люди? Молодая Жако такъ напивается, что попала подъ поъздъ! Мы живемъ среди людей и должны считаться съ общественнымъ мнъніемъ! Ну, идемъ! Довольно глупостей!

И вся семья повела Жанну, похолодъвшую, трясущуюся, едва державшуюся на ногахъ.

- Такъ помни, дитя мое, говорила мать, обнимая ее за талью, тамъ есть такая гайка на внутренней сторонъ рельса, схватись за нее и держись кръпче, чтобъ не отнять руку въ нужную минуту! Только держись за гайку, остальное все само собой!
- Вотъ наше мъсто, съ гордостью сказалъ старикъ Жако, свътя фонаремъ, вотъ и гайка. Жанна, ложись, дитя мое.

Старуха слегка подтолкнула еле державшуюся на ногахъ Жанну; та упала.

— Вотъ такъ, вотъ такъ, дитя мое! Дай руку! Вотъ гайка! Схвати пальцами! Держись!

Старуха заботливо оправила и подоткнула платье Жанны, чтобъ его не втянуло въ колеса. — Слышишь, какъ рельсы загудъли. Теперь ужъ близко! Близко! Лежи съ Богомъ!

Старуха поцъловала Жанну и отошла въ сторону отъ полотна.

- Полминуты какихъ-нибудь! Держись, Жанна!— донеслось изъ темноты.
  - За гайку держись!

Поднялся дьявольскій шумъ. Изъ-за поворота, словно чорть съ огненными глазами, сверкая огромными фонарями, вылетълъ паровозъ.

Грохоть, трескъ, свистъ, вопль.

— Человъка задавили! Человъка задавили!— закричалъ Жозефъ Жако, кидаясь въ деревию за фельдшеромъ.

Семья Жако бросилась къ рельсамъ, свътя фонаремъ, отыскивая, гдъ Жанна.

Жанна лежала около рельсовъ, бълая какъ мѣлъ, съ вытаращенными глазами, съ оскаленными стиснутыми зубами.

— Будьте вы прокляты!.. Прокляты!.. Прокляты!.. со стономъ крикнула она.

Старуха Жако нагнулась и воскликнула:

— Поздравляю васъ! Какъ нельзя быть лучше! Немного ниже плеча!

А изъ деревни съ фонарями бъжали ужъ люди.

- У Жако опять несчастье!
- Жанна?
- Она!
- Руку или ногу?

Кровь хлестала изъ Жанны, и она стонала, впадая въ забытье:

-- Будьте прокляты... прокляты... прокляты...

— Это она желъзную дорогу!—пояснилъ старикъ.— Конечно, будь они прокляты! Калъчатъ людей, даже свистка не даютъ!

Жанна лежала въ сосъдней комнатъ на отличной хирургической койкъ, давно уже заведенной въ домъ Жако. Около нея хлопотали докторъ и фельдшеръ.

А семья Жако, собравшись въ столовой, чокалась краснымъ виномъ.

На Жозефа сыпались поздравленія.

— Теперь ты можешь позволять себъ все! — говориль со слезами Жако-отець. — Я тебъ разръшаю! Безумствуйте, дъти мои! Наслаждайтесь жизнью! Теперь Жанна можеть быть въ интересномъ положени!

Черезъ два съ половиной года надъ желъзнодорожной семьей разразилось несчастье.

— Мы потеряли двадцать тысячь франковь!— говорила миъ Жанна, утирая слезы лъвой рукой и съ трудомъ стоя на деревяжкъ.

Она только что встала послъ "лъвой ноги" и еще плохо управлялась съ деревяжкой.

- Двадцать тысячъ франковъ! Вы только подумайте! Черезъ полтора года "послъ руки" Жанна родила мальчика.
- Прелестный быль такой бутузь. Върите ли, кровь съ молокомъ.

И старикъ Жако ръшилъ:

— Надо проучить желъзнодорожную компанію на этоть разь какъ слъдуеть!

Мимоходомъ онъ посовътовался съ опытнымъ юристомъ:

— Скажите, если ребенку отдавятъ правую ручку, это дороже стоитъ? — Конечно же, дороже! — отвътилъ опытный юристь. — Лишенье способности къ труду на всю жизнь! Шутка! Надо съ дътства держать инвалидомъ!

И старикъ Жако ръшилъ:

- Надо заблаговременно нозаботиться о малюткъ!
- Къ тому же, говорилъ онъ дома, это лучие, если ребенокъ вырастетъ безъ правой руки. Онъ затъмъ не чувствуетъ никакого лишенія. Онъ даже не знаетъ, что такое правая рука!

Вет съ нимъ согласились.

И когда младенцу исполнился годъ, насталъ торжественный день!

Съ утра вся семья была въ радужномъ настроеніи:

- Сегодня маленькій Жако сділаеть свое діло!
- Такой маленькій и ужь заработаеть двадцать тысячь франковь по меньшей мъръ! — шутпль дъдушка. — Молодець, Жако! Настоящій Жако!
- И это, не считая ножки!—съ гордостью говорила счастливая мать.—Ножкой опъ потомъ еще заработаеть!

И всѣ цѣловали малепькаго коропуза, который, лежа въ чистенькой кроваткѣ, игралъ купонами: ручками и ножками.

— А не обръзать ли намъ ему всъ четыре купончика?! — весело подмигивалъ дъдъ. — Пусть грабитъ компанію! А?

Вся семья понесла маленькаго Жако "на мъсто".

Младенчикъ улыбался и смотрълъ весело своими глазенками.

#### — Молодчина!

Маленькаго Жако уложили на мъсто, мать расцъновала его въ объ пухлыя щечки и пригрозила пальчикомъ, чтобъ лежалъ смирно. Рельсы гудъли уже, стонали, дрожали.

Вев отошли въ сторону отъ полотна.

Но, оставшись одинъ, маленькій Жако забарахтался ручками и ножками, сталъ на четвереньки и взлъзъ верхомъ на рельсъ.

Изъ-за поворота съ громомъ вылетѣлъ паровозъ курьерскаго побада...

— Поноламъ ангельчика! — разсказывала мнѣ Жанна.—Умилительно было смотрѣть! Пополамъ! Какъ арбузикъ! Сверху бѣленькій, а въ середкѣ весь красненькій. А кругомъ кишочки, кишочки! Гарнирчикомъ! Красота!

И ничего за младенца пе дали.

— Свинство! — выругался старикъ Жако. — За кунонъ деньги, а за цъзую акцію инчего!



# Человъкъ, котораго ихтервьюировали.

### Человѣкъ, котораго интервьюировали.

(Петербургскій типъ).

Какъ это случилось въ первый разъ, Иванъ Ивановичъ даже не можетъ дать себъ отчета.

Это произошло вечеромъ, въ полумракъ кабинета. Дрожали красныя, синія, желтыя пятна, которыя бросаль разноцвътный фонарикъ. Молодой человъкъ сидълъ передъ Иваномъ Ивановичемъ, наклонившись, съ жадно раскрытыми глазами, засматривая ему въглубину очей, казалось, страдалъ и млълъ и только иногла шепталъ:

— Дальше... дальше...

Ивану Ивановичу казалось, что молодой человѣкъ гипнотизируетъ его своимъ взглядомъ. У него слегка кружилась голова. Онъ былъ въ какомъ-то опьянѣніи. Его охватывало волненіе. Онъ говорилъ, говорилъ, говорилъ... и когда кончилъ, молодой человѣкъ поднялся и поклонился.

— Это все, что миѣ было нужно. Вы интервьюпрованы!

Иванъ Ивановичъ почувствовалъ, что онъ летитъ въ пропасть.

Онъ словно пробудился отъ сладкаго спа. Его охватилъ ужасъ.

Онъ хотълъ крикнуть вслъдъ уходившему молодому человъку:

— Стойте!.. Стойте!..

У него даже мелькнула въ головъ мысль:

— Убить его и спрятать трупъ.

Но было поздно. Тотъ ушелъ.

Иванъ Ивановичъ остался педвижимый въ креслѣ. Голова кружилась. Подъ ложечкой тоскливо сосало. Кости ныли, словно Ивана Ивановича кто-то исколотилъ.

И одна только мысль, не шевелясь, сидѣла въ мозгу:

"Вотъ меня и интервьюпровали!"

Ему вдругъ захотълось кислой капусты.

- Что это я?—опомнился Иванъ Ивановичъ и приказалъ сдълать постель.
- Никого не принимать, и я никуда не поъду. Мнъ что-то не по себъ.

Онъ съ наслажденіемъ зарылся въ свѣжее, чутьчуть надушенное бѣлье, свернулся клубочкомъ въ холодномъ полотиѣ, задулъ ночникъ и долго лежалъ съ открытыми глазами.

Ему было страшно и пріятно.

Онъ старался думать о томъ, что произопило, съ отвращеніемъ и не могъ: противъ воли воспоминанія наполняли его блаженствомъ.

— А ловко я мысль объ учрежденій института экзекуторовъ пропустилъ... Прямо противъ Василья Васильнча... Пусть събсть! Хе-хе!..

Онъ засиулъ поздно, среди какого-то блаженнаго бреда, и спалъ тревожно,—его мучили кошмары.

Онъ кричалъ во сиб и метался.

Ему снились народныя толны. Онъ смотръли на него съ изумленіемъ, съ благоговъніемъ.

— Ахъ, какіе у васъ взгляды! Какія мысли! Како́іі умъ!..

Подходили ближе, ближе и вдругъ, нодойдя совсъмъ вплотную, показывали на него пальцемъ, кричали:

- Человъкъ, котораго интервьюпровали!

Хохотали и разбътались.

И такъ разъ восемьдесятъ.

Иванъ Ивановичъ проспулся въ холодномъ поту, съ легкой головной болью. Одфяло, простыни были скомканы, подушки валялись на полу.

Онъ взялся за газету и почувствовалъ, что у него отнимаются руки и ноги. На первой страницъ крупнымъ шрифтомъ чернъло:

"О реформахъ нашихъ департаментовъ. Интервью съ его превосходительствомъ Иваномъ Ивановичемъ Ивановымъ".

Каждое слово, которое онъ сказалъ вчера, стояло теперь чернымъ по бълому, выдълялось, кричало. Тысячи, десятки тысячъ людей теперь читали то, что онъ думалъ.

Иванъ Ивановичъ чувствовалъ себя такъ, словно съ него на Невскомъ на солнечной сторопѣ въ два часа дня упала часть туалета и всѣ увидѣли его сокровенное.

Ему было стыдно и — удивительно! — пріятно.

"Что жъ, дай Богъ всякому!" подумалъ Иванъ Ивановичъ, перечитавъ свои мысли.

Мысль о департаментъ, однако, наполнила душу Ивана Ивановича ужасомъ.

— Читалъ! — почувствовалъ Иванъ Ивановичъ, когда швейцаръ отвернулся, снимая съ него шубу, и у него екнуло сердце.

Онъ пошелъ на цыпочкахъ вдоль стѣпки и въ эту минуту отдалъ бы все свое жалованье, чтобъ только его никто не замътилъ.

При входъ Ивана Ивановича все стихло. Мелкіе чиновники глубже ушли въ бумаги. Средніе начали вдругъ всъ почему-то рыться въ столахъ. Покрупнъе, подавая руку, старались не глядъть Ивану Ивановичу въ глаза и говорили что-то нескладное:

— Какой сегодня на дворъ великолъпный театръ... Скоро ли будетъ числовое двадцато?..

"Словно по-сербски", тоскливо подумалъ Иванъ Ивановичъ.

— Всв прочли... Всв знають...

Только одинъ Степанъ Степановичъ глядълъ на него изъ своего угла прямо и пристально.

Степанъ Степановичъ потому и сидълъ въ самомъ углу, что онъ имълъ неизлъчимую болъзнь интервью-ироваться. Ръдкій день въ газетъ не появлялось интервью съ Степаномъ Степановичемъ. Отъ Степана Степановича сторонились; Степана Степановича чуждались, съ нимъ избъгали говорить, особенно при постороннихъ:

— Ну его! Еще возьметь да въ интервью вставить: "хотя нѣкоторые изъ моихъ товарищей и полагаютъ такъ-то, но я нахожу этоть взглядъ неосновательнымъ". Да въ видъ "неосновательнаго взгляда" ваше миъніе и выведетъ.

Степанъ Степановичъ и самъ понималъ, что ведетъ себя предосудительно, держался въ уголкъ, ни съ

къмъ не заговаривалъ, ни на кого не смотрълъ, руку подавалъ робко, словно успоконвалъ:

"Не бойтесь! Не бойтесь! Въдь я не заражу васъ своимъ прикосновеніемъ. Отнеситесь же ко миъ хоть немножко по-человъчески, не отказывайте подать руку!"

Теперь Степанъ Степановичъ смотрѣлъ на Ивана Ивановича прямо и смѣло. Словно радостно, какъ будто слегка насмѣшливо.

"Старая кокотка такъ смотритъ на начинающую!" пришло вдругъ въ голову Ивану Ивановичу отвратительное сравненіе, и ему сдѣлалось такъ нехорошо, что онъ даже вышелъ не надолго.

Его мъсто было по самой срединъ комнаты, и Иванъ Ивановичъ сидълъ ни живъ ни мертвъ, боясь поднять глаза. Куда бы онъ ни повернулъ голову, все въ той сторонъ моментально инзко склонялось падъ бумагами, словпо даже бумаги— и тъ становились неразборчивыми отъ взгляда Ивана Ивановича, или начинало рыться въ столахъ, или смотръло въ окна, на стъпы въ величайшемъ смущении.

Иванъ Ивановичъ попробовалъ было разсъять эту тяжкую атмосферу томительнаго молчанія.

Помолился въ душъ и громко сказалъ:

— Читали вы, господа...

Но самъ не узналъ своего голоса.

Да и кругомъ все взглянуло на него съ такимъ испугомъ, что Иванъ Ивановичъ почувствовалъ, какъ у него отнялись ноги и языкъ.

Было тяжело, мучительно тяжело.

Ивану Ивановичу вспомиплась одна пьеса, которую онъ видълъ когда-то у мейшингенцевъ. Изъ древнегерманской жизни. Римскіе солдаты, остановившіеся въ германской деревнъ, совершили гнусное преступление надъ германской дъвушкой.

И воть ночью сбъгаются жители деревни. Сцена, при мерцающемъ свътъ факеловъ, наполняется страшнымъ, ледянящимъ душу шопотомъ. "Объ этомъ" никто пе ръшается сказать громко. Вводятъ дъвушку, и гасятъ всъ факелы, чтобъ никто не видълъ ея лица...

"Словно я германская дъвушка!" съ тоскою думалъ Иванъ Ивановичъ и въ первый разъ перевелъ духъ, когда въ половинъ третьяго стемнъло и комната департамента погрузилась во мракъ.

Но самое страшное было, когда одинъ изъ вызвавшихъ его просителей началъ свою ръчь къ Ивану Ивановичу такъ:

— Прочитавъ сегодня въ газетахъ ваши просвъщенные взгляды, осмъливаюсь...

Иванъ Ивановичъ схватился за притолоку:

"Всъ знаютъ... всъ"...

Безумныя мысли закружились у него въ головъ:

"Убить просителя и спрятать трупъ".

Но голосъ благоразумія взялъ верхъ:

"Встать не перебьешь... Встать перебить невозможно"...

Да къ тому же въ его ушахъ прозвучалъ въ эту минуту, словно труба архангела, страшный голосъ курьера:

— Васъ къ директору!

Шатаясь, Иванъ Ивановичъ вошелъ.

Въ кабинетъ было полутемно.

— A, это вы... — сказалъ директоръ, отвернулся и подалъ ему руку, какъ показалось Ивану Ивановичу, неръпительно.

Подалъ и сейчасъ же отдернулъ.

"Убить директора и спрятать его трупъ?" мелькнула въ головъ Ивана Ивановича опять та же безумная мысль, и ему вдругъ мучительно, страстно, болъзненно захотълось, чтобы въ эту минуту случилось свътопреставленіе.

Директоръ смотрълъ въ сторону, барабанилъ пальцами, видимо, хотълъ что-то сказать, но говорилъ совсъмъ другое.

— Какая хорошая погода! — сказалъ директоръ.

Иванъ Иваповичъ шевелилъ сухими губами.

— На улицъ ъздитъ много извозчиковъ!— сказалъ директоръ и, не иолучая отвъта, добавилъ: — Вообще на улицахъ завелось что-то слишкомъ много извозчиковъ...

Иванъ Ивановичъ отъ этихъ странныхъ фразъ директора еще больше страдалъ. Наконецъ онъ облизнулъ сухимъ языкомъ сухія губы, собралъ всѣ силы и воскликнулъ:

— Петръ Петровичъ... Ваше превосходительство...

Его голосъ пересъкся и зазвенълъ какъ оборванная струна.

Въ кабинетъ послышались тихія всхлипыванія.

Директоръ заговорилъ. Въ голосъ его тоже послышались слезы:

— Иванъ Ивановичъ... Успокойтесь... Не надо... Въдь я же не звърь, я понимаю... Ничего особеннаго... Даже очень дъльно... Но только отчего же вы всего этого мнъ на словахъ не сказали, а такъ, вдругъ. въ газетъ?..

Вехлипыванія раздались сильнъе.

- Ну, ну!.. Не буду... Не надо.. Я не спрашиваю, какъ это случилось! Не надо!.. Не разсказывайте!.. Я знаю, вамъ больно... Но, Иванъ Ивановичъ, дорогой мой... Одна просъба!.. Ну, случился гръхъ, съ къмъ пе бываетъ... Но впередъ не впадайте... Затягиваетъ это... Я знаю... Вонъ посмотрите, Степанъ Степановичъ...
- Петръ Петровичъ, воскликнулъ Иванъ Ивановичъ, —да неужели я Степанъ Степановичъ?...

И рыданія хлынули изъ его груди...

Сравнить его со Степаномъ Степановичемъ! Это было ужъ слишкомъ.

"Вотъ когда я погибъ!—вспоминалъ потомъ Иванъ Ивановичъ. — Убилъ онъ меня, назвавъ Степаномъ Степановичемъ".

Директоръ даже испугался.

— Да я не сравниваю... Что вы?.. Иванъ Ивановичь!.. Я предупреждаю только... Отечески предупреждаю... Вѣдь "они" начнутъ теперь шляться... Ахъ, Господи! Командировку, что ли, вамъ дать куданибудь, чтобы вы провѣтрились?!

Въ горлъ Ивана Ивановича высохли слезы.

- Нътъ съ, ваше превосходительство, никакой командировки на надо... Никуда я не поъду... Я останусь тутъ бороться. Пусть ко миъ ъздятъ, пусть искушаютъ... Борьбой, борьбой со страстями я искуплю невольное паденіс... Искуплю и восторжествую!
- И, сдълавъ поклонъ, онъ шатающейся походкой пошелъ къ двери.
- Богь вамъ да поможеть въ вашемъ подвигѣ!— напутствовалъ его вслѣдъ директоръ, а когда Иванъ Ивановичъ выходилъ изъ двери, опъ слышалъ, какъ директоръ говорилъ экзекутору:

- Вотъ и еще одного чиновника мив испортили! Въ коридоръ Ивана Ивановича, оказывается, поджидалъ Степанъ Степановичъ.
- Хотите, батюшка, я вамъ одного репортера пришлю! — страстно прошенталъ Степанъ Степановичъ. — Какъ, шельма, интервьюпруетъ!!!

Иванъ Ивановичъ даже отпрянулъ въ ужасъ и воскликнулъ:

- Отойди отъ меня, сатана!

Темно было въ департаментахъ, а на улицъ было еще достаточно свътло, и Иванъ Ивановичъ, возвращаясь домой, узналъ на встръчномъ лихачъ того самаго молодого человъка, который его вчера интервыюнровалъ.

Молодой человъкъ ликовалъ. Иванъ Ивановичъ считался самымъ неприступнымъ изъ дъйствительныхъ статскихъ совътниковъ, и за интервью съ нимъ молодому человъку заплатили въ редакціи по двойному тарифу.

Молодой человъкъ радостио закивалъ Ивану Ивановичу.

У Ивана Ивановича кровь бросилась въ голову, ему захотълось вдругъ остановить извозчика, закричать:

— Стой! Городовой! Держи его! Взять! Онъ развращаеть дъйствительных статских совътниковъ!

Но лихачъ уже промелькнулъ и затерялся въ толпъ экипажей.

Вернувшись домой, Иванъ Ивановичъ объявиль, что никуда не поъдетъ.

— Куда ни поъдешь, вездъ "про то" говорить будуть! Онъ даже въ клубъ не отправился объдать. Просидълъ, не ъвши, и, быть-можетъ, слабостью вслъдствіе голода и объясняется то, что случилось.

Въ семь часовъ въ кабинетъ вошелъ другой молодой человъкъ, съ безпокойно ласковымъ взглядомъ, сълъ противъ Ивана Ивановича и, иъжно наклонившись къ нему, мягко спросилъ:

- Что вы думаете о резиновыхъ калошахъ?

Ивапъ Ивановичъ хотълъ вскочить, крикнуть прислугу, приказать избить ласковаго молодого человъка резиновыми калошами, но самъ не знаетъ, какъ вмъсто исего этого сказалъ:

— Думаю, что резиновыя калоши полезны вслъдствіе только дешевизны, но въ смыслъ сохраненія нальцевъ на ногахъ предпочитаю кожаныя...

и пошелъ...

На слъдующій день съ Иваномъ Ивановичемъ іъ департаментъ даже не всъ поздоровались, экзекуторъ сухо сказалъ:

— По распоряженію г. директора, изъ вашего въдънія будуть изъяты всъ дъла, не подлежащія оглашенію.

Но Ивану Ивановичу — странное дѣло, онъ даже самъ удивлялся своему равподушію — былс все какъ съ гуся вода. Въ эти ужасныя минуты его волновала только одна мысль:

"Нътъ, что же онъ, подлецъ, про буквы металлическія ничего не напечаталь. Въдь я говорилъ, что металлическія буквы въ калошахъ вредны, ибо портять сапоги. Забылъ, должно-быть! Надо будеть за нимъ послать!"

Степанъ Степановичъ подлетълъ къ Ивану Ивановичу уже смъло, утащилъ его въ уголъ и шопотомъ сказалъ:

— Читалъ. Хорошо. Но все-таки не такъ, какъ мой, съ которымъ я интервьюируюсь. Вотъ, подлецъ, умфетъ. Всю подноготную переберетъ. До души до-ходитъ. Хотите, пришлю разочка на два. Пусть интервьюируетъ. Удовольствіе получите!

Иванъ Ивановичъ прошепталъ:

— Пришлите!

Степанъ Степановичъ разсмѣялся и по плечу его похлопалъ:

— Такъ-то! А то "сатаной" вчера пазвали! День только потеряли.

И Иванъ Ивановичъ, къ удивленію, за такую фамильярность не только не послалъ Степана Степановича къ чорту, а, напротивъ, позвалъ въ трактиръ объдать.

И вечеръ они провели въ трактиръ, въ пьянствъ и разговорахъ:

— Какъ лучше интервью ироваться?

Послъ объда они ъздили къ какимъ-то интервьюерамъ, пили съ ними пиво, кажется, танцовали, и на утро Иванъ Ивановичъ прочелъ въ пяти (газетахъ пять интервью съ нимъ:

- "О нормальной длинь юбочекь у балетныхь тан-
  - "Брать ли намъ Гератъ?"
  - "О мърахъ къ предупрежденію наводненій".
  - "О лучшей закускъ къ водкъ".
  - "Что, по его мнънію, сдълалось съ Андрэ".

Что произошло дальше?

Объ этомъ грустно и разсказывать.

Въ одинъ хмурый, ненастный день директоръ, даже не лично, а черезъ экзекутора—объявилъ Ивану Ивановичу свою волю:

- Подаванте прошеніе.

И Иванъ Ивановичъ не только не смутился, но даже громко спросилъ:

— За что?

Экзекуторъ даже не нашелся отвътить, да Иванъ Ивановичъ и не ожидалъ отвъта. Смъло и вызывающе глядя всъмъ въ глаза, онъ кинулъ, словно вызовъ:

— За то, что я интервью пруюсь?

Вст были въ ужаст. Онъ еще бравируетъ этимъ!

— A Степанъ Степановичъ? — вызывающе бросилъ Иванъ Ивановичъ.

Это ужъ было черезчуръ! Экзекуторъ сдълалъ самое суровое лицо и отвъчалъ, отчеканивая каждое слово:

— Даже Степанъ Степановичъ не доходилъ до такой распущенности. Степанъ Степановичъ интервьюируется постоянио съ однимъ. А вы съ къмъ ни попадя. Ни одного дия ни одной газеты не выходитъ безъ интервью съ вами. Прощайте.

И даже Степанъ Степановичъ не подалъ ему руки и отвернулся, когда Иванъ Ивановичъ выходилъ изъканцеляріи.

Переступая въ послъдній разъ порогъ канцеляріи, Иванъ Ивановичъ чувствовалъ, что для него все гибнеть, и какое-то дикое, веселое отчаяніе охватило его. Какое-то безстыдство овладъло имъ. Ему захотълось безстыдничать, приводить всъхъ кругомъ въ ужасъ, въ негодованіе, пить чашу презрънія.

На порогъ онъ обернулся и крикиўлъ на всю канцелярію:

— Хотите я къ вамъ, ко всѣмъ, интервьюеровъ пришлю?! Ахъ, хорошо, подлецы, интервьюировать умѣютъ!

Опъ ожидалъ воплей негодованія, угрозъ, криковъ: "вывести его!"

Въ отвътъ было гробовое молчаніе.

И среди гробового молчанія Иванъ Ивановичъ, блѣдный, шатающійся, вдругъ обезсилѣвшій, вышелъ изъ канцеляріи. Даже швейцаръ не надѣлъ ему върукава, а набросилъ на плечи шинель.

— Погибъ, погибъ! — шепталъ Иванъ Ивановичъ, идя домой пъшкомъ.

А вечеромъ въ его квартирѣ шелъ дымъ коромысломъ. Иванъ Ивановичъ... праздновалъ свое изгнанье въ кругу репортеровъ, пилъ, плясалъ для нихъ русскую и кричалъ:

— Выгнали! Слава Богу! Теперь я свободенъ! Теперь я вашъ! Интервьюпруйте меня по 24 часа въсутки! Пусть публика знаетъ всъ мои мысли! Ничего сокровеннаго у меня нътъ!

И отвѣчалъ сразу на шесть вопросовъ по шести разнымъ предметамъ.

Даже репортеры изумлялись откровенному безстыдству его отвътовъ.

И вотъ потянулись ужасные дни.

Въ кабинетъ Ивана Ивановича, обыкновенно чистомъ, слегка благоухающемъ, запахло какой - то казармой, типографской краской, промозглымъ пивомъ, много ношенными сапогами, скверными папиросами.

И Иванъ Ивановичъ ходилъ по бѣлому когда-то, теперь насквозь проплеванному ковру, отбрасывалъ ногой валявшіеся окурки и олово отъ пивныхъ бутылокъ и съ удовольствіемъ втягивалъ въ носъ острый запахъ скверныхъ папиросъ.

— Эхъ, јадорово репортеромъ пахнетъ... Хоть бы пришелъ кто изъ нихъ!

Утромъ, едва Иванъ Ивановичъ брался за газеты, у него просыпался какой-то зудъ:

— Хорошо бы по этому вопросу мнъніе высказать... Ахъ, и по этому бы и по этому...

И опъ съ трепетомъ ждалъ, когда вздрогнетъ звонокъ, самъ выбъгалъ въ переднюю, самъ снималъ съ вошедшаго пальто и говорилъ, почти задыхаясь:

- Интервьюируйте меня! Интервьюируйте! Чъмъ вы меня сегодня? Иностранной политикой долбанете?
- Нътъ. На очереди стоитъ вопросъ: какъ лучше солить огурцы?

И онъ интервьюировался, интервьюировался, интервьюировался съ какимъ-то бъщенствомъ, говорилъ обо всемъ: о Чемберлэнъ, огуречномъ разсолъ, древнихъ языкахъ, о томъ, что зналъ, и съ особымъ наслажде. ніемъ о томъ, чего вовсе не зналъ.

Но готъ звонки въ квартиръ Ивана Ивановича стали раздаваться все ръже и ръже...

Редакторы болъе не принимали интервью съ Иваномъ Ивановичемъ:

— Надовлъ! Во всвхъ газетахъ!

Репортеры развращами другихъ дъйствительныхъ статскихъ совътниковъ и даже на улицъ, при встръчъ съ Иваномъ Ивановичемъ, вскакивали на перваго попавшагося извозчика и уъзжали, крича:

#### - Поскоръе!

Потянулись истинно тяжкіе дни. Иванъ Ивановичь, говорять, пересталь курить свои гаванскія сигары и куриль самыя скверныя папиросы.

#### — Репортеромъ пахнетъ!

Это создавало бъднягъ иллюзію. Цълые дни, говорять, онъ сидъль одинъ, разговаривая вслухъ самъ съ собою, задавая самъ себъ нелъпые вопросы и давая на нихъ самые нелъпые отвъты.

- А какъ вы думаете, ваше превосходительство, можеть Патти еще разъ выйти замужъ?—спрашиваль опъ себя, слегка измънивъ голосъ, и отвъчалъ своимъ собственнымъ голосомъ:
  - Отчего бы и пътъ? Думаю, что можетъ! Это заключилось катастрофой.

На-дпяхъ Ивана Ивановича судили у мирового за избіеніе пъкоего мъщапина, занимающагося литературнымъ трудомъ.

Изъ протокола выяснилось, что городовой, стоя вечеромъ на углу безлюдной площади, услыхалъ безумпые вопли, летъвшіе откуда-то изъ сугроба снъга. Прибъжавъ на мъсто происшествія, онъ увидълъ изъстнаго ему [литературнаго мъщанина, на которомъсидълъ верхомъ Иванъ Ивановичъ, тузилъ молодого человъка кулаками, по чемъ ни попадя, и кричалъ:

— Нътъ, ты будешь меня интервьюировать, бупешь!

Свидътели-репортеры показали, что Иванъ Ивановичъ положительно не даетъ имъ прохода. Одного прищучилъ у Доминика, когда тотъ хотълъ уходить, не заплативъ за пирожки:

- Интервьюируй меня или буфетчику скажу!

Другого семь дней ждаль у выхода изъ редакцін, такъ что тоть должень быль уходить въ трубу.

Третьяго настигь въ глухомъ переулкъ и грозилъ застрълить, если тотъ его тутъ же не будетъ интервьюнровать по вопросу объ употребленіи мелинита при осадъ кръпостимхъ бастіоновъ. Репортеры просили мирового судью оградить ихъ отъ приставаній Ивана Ивановича:

— Насъ другіе дъйствительные статскіе совътники, желающіе интервьюироваться, ждуть.

Мировой судья приговорилъ Ивана Ивановича на двъ недъли ареста.

Намъ будетъ очень прискорбно, если этотъ фельетонъ попадетъ въ руки Ивана Ивановича.

Горько зарыдаетъ бъдняга:

— Изъинтервью ирують, да еще насмъхаются!



Замъчательнъйшій городъ въ міръ.

## Замѣчательнѣйшій городъ въ мірѣ.

(Изъ скитаній по білу світу.)

Замъчательнъйшій въ міръ городъ.

Это не Парижъ, не Лондонъ, не Римъ, не Нью-Йоркъ, а Боннъ.

Крошечный городокъ съверной Швейцаріи, расположенный въ небольшой котловинкъ, которую со всъхъ сторонъ окружаютъ невысокія горы.

Такъ что, когда вы подъвзжаете, эта котловинка кажется вамъ большимъ круглымъ зеленымъ тазомъ, на днъ котораго осталось немного сора. — Это и есть Боннъ— "замъчательнъйшій городъ въ міръ".

Я попалъ туда совершенно случайно.

Вхалъ мимо и завхалъ. Безъ всякаго двла, безъ всякой цвли,—просто, чтобы гдв-нибудь остановиться и отдохнуть отъ чудныхъ швейцарскихъ видовъ.

Ничто такъ не утомляетъ, какъ эти "виды", открывающіеся изъ окна желъзной дороги.

И чъмъ мъстность красивъе, тъмъ это утомительнъе. Словно вы цълый день просидъли передъ какой-то движущейся панорамой.

Въ концъ-концовъ вамъ прямо хочется крикнуть:

— Баста! Меня уже начинаетъ тошнить отъ этихъ красивыхъ видовъ.

И вы выходите на первой попавшейся станціи. Такой станціей для меня оказался Боннъ.

Онъ очень милъ, глядя со стороны, а первый его житель, котораго я увидълъ—единственный во всемъ городъ извозчикъ, дожидавшійся на станціи,—оказался привътливымъ и разговорчивымъ парнемъ.

Онъ очень удивился, когда я приказалъ ему везти меня въ гостиницу.

— Въ гостиницу?.. Видите ли, у насъ нътъ гостиницы... Но я васъ отвезу къ г. пастору... Пасторъ Люгеръ, — его-то вы, навърное, знаете?

Я отвъчалъ, что не знаю на обоихъ полушаріяхъ никакого пастора Люгера.

Мой возница поглядълъ на меня съ изумленіемъ:

"Что это, молъ, за человъкъ? Съ неба, что ли, свалился?"

— Не знаете пастора Люгера? Въ такомъ случав твмъ лучше. Вамъ слвдуетъ съ нимъ познакомиться: одинъ изъ ученвишихъ людей въ свътв. Что касается до гостепримства, то г. пасторъ не даромъ имъ славится... Хе-хе! Вы скоротаете съ нимъ не одинъ добрый часокъ и врядъ ли скоро захотите увхать отъ такого человъка.

Пасторъ Люгеръ оказался, на самомъ дѣлѣ, очень милымъ и добродушнымъ пожилымъ человѣкомъ.

- Добро пожаловать! Добро пожаловать!—говориль онь, вводя меня въ свой маленькій, чистенькій, настоящій "пасторскій" домикь.—Добро пожаловать! Вы, въроятно, путешествуете съ цълью изученія нравовь и осмотра достопримъчательностей?...
  - Да, въ этомъ родъ...

- 0, въ такомъ случав вы пе раскаетесь въ томъ, что завхали въ нашъ Боннъ. Тутъ вы напдете многое, достойное и вашего вниманія и изученія... Позвольте узнать, сколько вамъ лѣтъ?
  - Миъ тридцать два.

Пасторъ слегка вздохнулъ.

- Конечно, очень жаль, что вы не сдѣлали этого раньше. Тогда бы знакомство съ Бонномъ, быть-можетъ, принесло вамъ еще больше пользы, быть-можетъ, даже совершенно иначе направпло ваши способности и самую вашу карьеру. По моему, молодые люди должны знакомпться съ Бонномъ въ возрастѣ отъ семнадцати до двадцати лѣтъ. Къ сожалѣнію, этимъ обыкновенно пренебрегаютъ, и многіе даже во всю свою жизпь ограничиваются только знакомствомъ съ Женсвой, Базелемъ, Парижемъ, Берномъ и Лондономъ!
- Г. насторъ сдълалъ жестъ, красноръчиво выражавшій его искреннее сожальніе къ этимъ "многимъ".
- Было бы, повторяю, лучше, если бы вы познакомплись съ Бонномъ раньше. Но что дѣлать! Вамъ, вѣроятно, мѣшали дѣла. Никогда не поздно обогатить свой умъ новыми свѣдѣніями. Добро пожаловать, мой молодой другъ!

Я поблагодариль пастора за любезный пріемъ.

— Не за что! Не за что! Боннъ всегда былъ извъстенъ своимъ гостепріимствомъ. Всегда! Ба, однако "соловья баснями не кормятъ", какъ говорятъ у насъ въ Боннъ. Вы пріъхали какъ разъ въ часъ объда. Сейчасъ войдетъ моя жена.

Колоколъ во дворъ звучно пробилъ шесть ударовъ, и въ комнату вошла г-жа пасторша, очень полная пожилая дама, съ добрымъ, открытымъ, привътливымъ лицомъ.

— Нашъ молодой [другъ, путешественникъ, пріъхавшій осмотръть нашъ Боннъ. Госпожа Люгеръ, моя жена! — представилъ пасторъ.

Я ожидаль, кто еще должень явиться на звонь въчевого колокола.

— Чего же мы, однако, дожидаемся? — спросиль г. пасторъ. — Ахъ, васъ, въроятно, ввелъ за заблужденіе звонокъ. Видите ли, въ него звонятъ на случай, если меня нътъ дома. Таковъ обычай. И не намъ мънять старые обычаи.

Мы перешли въ столовую.

Пасторша и пасторъ оказались, дъйствительно, гостепримнъйшими въ міръ людьми.

Пасторша безпрестанно подкладывала мий на тарелку, словно имила основание предполагать, что я недили дви ничего не ими.

А пасторъ "рекомендовалъ" блюдо.

- Да вы почти ничего не вдите! приходила въ ужасъ добрая пасторша, когда я съвдалъ вторую тарелку. Конечно, у насъ за нашимъ скромнымъ столомъ вы не напдете того, къ чему привыкли въ Парижв и Лозаннъ.
- Довольно, жена! съ достоинствомъ останавливаль ее г. насторъ. У насъ господинъ путешественникъ найдетъ зато одинъ изъ гигіеничнъйшихъ и вкуснъйшихъ объдовъ, какіе можно найти гдъ бы то ни было! Да, вкуснъйшихъ, потому что госпожа Люгеръ, я долженъ вамъ сказать, одна изъ лучшихъ хозяекъ въ міръ. Для того, чтобъ убъдиться въ этомъ, достаточно взглянуть на ея коровникъ.

- Ахъ, Іоганнъ, ты просто заставляещь меня краснъть своими похвалами...
- Не для чего краспъть. Скрывать слъдуеть только пороки, а никакъ не достоинства. Скрывать достоинства—это такъ же нехорошо и предосудительно, какъ и обпаруживать свои пороки. Не такъ ли, г. путешественникъ?
  - О, несомивнию, г. пасторъ!..
- Я попрошу васъ взять еще немного этого салата. Не правда ли, не вездъ можно встръчать такой? О, почва Бонна—удивительная почва. Она еще не изслъдована, какъ слъдуеть, но я увъренъ, что ученые, когда займутся, найдуть въ пей много разныхъ солей! Я даже думаю, что подъ нею должны быть большія залежи минераловъ, съ такимъ трудомъ эта почва впитываетъ въ себя влагу. Нъкоторые находять, будто почва Бонна нъсколько болотиста. Но это не такъ, благодаря минераламъ. Я увъренъ, что тутъ замъщаны минералы!
- Я попрошу васъ отвъдать вотъ этой рыбы и высказать свое митне. Эта рыба водится въ озеръ около Бонна и называется "караси". "Караси". Запишите, если хотите, название. Въ Бонит ее готовятъ обыкновенно со сметаной.
- Что? Какъ вамъ нравится наша рыбка? Прибавьте, если хотите, еще пемножко сметаны. Ничего, это не вредитъ! Такой [сметаны, я увъренъ, вы не найдете ни въ Нарижъ ни въ Нью-Йоркъ.

Словомъ, я навлся до отвала всевозможныхъ рѣдкихъ и диковинныхъ блюдъ, и тогда намъ подали стараго вина — "одну изъ старъйшихъ бутылокъ на свътъ". — Опа сохраняется уже четвертый годъ! На ней появилась даже пыль! — пояснилъ г. пасторъ.

Мы запили все это чашечкой кофе, свареннаго такъ, "какъ умфетъ варить только пасторша".

— Это ея секретъ, котораго она не открываетъ даже мнъ! — улыбнулся пасторъ.

Секретъ, котораго не зналъ даже г. пасторъ, отлично зналъ я. Это былъ кофе, сваренный съ гущей, по-турецки. Я, конечно, могъ бы тутъ же открыть секретъ г-жи пасторши, но зачъмъ разочаровывать такихъ милыхъ людей?

- Теперь мы можемъ пройтись и осмотръть достопримъчательности города! - сказалъ г. пасторъ, вставая изъ-за стола. - Совътую вамъ взять вашу палку, мой молодой другъ. Собаки Бонна, надо отдать имъ полную справедливость, однъ изъ злъпшихъ въ міръ. Онъ разорвали на своемъ въку уже не однъ напталоны. И если бъ еще, къ счастью, опъ не были нъсколько трусливы, это было бы величайшимъ бъдствіемъ для человъчества. Итакъ, берите вашу палку и въ путькъ достопримъчательностямъ Бонна. Я увъренъ, вы не раскаетесь въ томъ, что ради нихъ пройдете весь городъ! Прежде всего я покажу вамъ, конечно, нашу перковь. Одно изъ простъйшихъ, но тъмъ-то и замъчательныхъ произведеній архитектурнаго искусства. Она построена на пожертвованія Людвига Крейцера Вы слышали, быть-можеть, это имя?
  - Нътъ... г. пасторъ... я не припомню...
- Жаль, что біографіи такихъ людей не печатаются въ большихъ газетахъ. Это было бы очень поучительно для юношества. Впрочемъ, вы могли бы, если бъ захотъли ознакомиться подробиъе съ біографіей этого

замъчательнаго человъка, напти ее въ нашей газетъ... Номеръ... Да, да! № 6 за 1875 годъ "Боннскаго Еженедъльнаго Телеграфа". Вы можете достать его гдъ угодно, — мы въдь высылаемъ нашу газету gratis во всь музеи! Да, это быль замьчательный человькь. Онъ могъ бы послужить для міра приміромъ добросовъстности. Въ его колбасной лавкъ не было примъра, чтобы обсчитали хоть на пять раппеновъ самаго маленькаго мальчика. А колбаса, которую онъ дълалъ, славилась на всю окрестность. Ее брали съ собой даже за важави е сюда путешественники! Но ни богатства, ни слава, ни общирныя торговыя дъла — ничто не заставило его гордиться. Онъ былъ благотворителемъвсю свою жизнь: онъ никогда не продавалъ остатковъ, которые бывають при выдълкъ колбасъ, а всегда всв ихъ отдаваль бъднымъ. Вотъ это былъ какой человъкъ! Какъ вамъ нравится это созданіе архитектуры?

— 0, г. пасторъ!

Во время рѣчи г. пастора мы уже прошли весь городъ и стояли передъ миніатюрной церковью сътакой же колокольней.

— Нътъ, вы обратите вниманіе на простоту, какъ нельзя болъе гармонирующую съ назначеніемъ зданія. Не правда ли, какая глубина мысли? Зато колокольня прямо уносится въ небо.

Я посмотрълъ и на маленькую колокольню, вышиною въ 4 сажени, которая "уносилась въ небо".

- Одно изъ высочайшихъ зданій въ Европъ!
- Но, г. насторъ, невольно вырвалось у меня, на свътъ въдь существуеть еще и Эпфелева башня!

Вырвалось,---и я сейчась же пожальль объ этомъ.

Лицо пастора приняло грустное выраженіе Онъ съ глубокимъ сожалѣніемъ покачалъ головой.

— Да, вы правы, мой молодой другь! Эйфелева башня, дъйствительно, выше боннской колокольни. Но я васъ спрашиваю, мой молодой другь: къ чему служить это огромное, безсмысленное сооруженіе, тогда какъ на нашей колокольнъ имъются даже часы? Да, если бы боннцы задумали строить у себя что-нибудь подобное Эйфелевой башнъ, я увъренъ, они бы построили нъчто дъйствительно заслуживающее вниманія по своей полезной цъли!

Кажется, пасторъ даже немного обидълся.

— Я съ удовольствіемъ показалъ бы вамъ внутренность нашей церкви, тоже замѣчательной по своей простотѣ: ничего, кромѣ дерева! Но, къ сожалѣнію, ключи у сторожа. А онъ вѣчно спитъ какъ сурокъ. Во всемъ мірѣ вы не найдете человѣка, который спалъбы столько, какъ онъ! Это положительно замѣчательно, и я думаю показать его докторамъ, которые, навѣрное, возьмуть его для демонстраціи на какой-нибудь ученый съѣздъ. Теперь мы пойдемъ осмотрѣть школу... Г. учитель! Г. учитель! — постучался пасторъ въ запертую дверь.

Отвъта не было.

- Очевидно, г. учитель ушелъ на рыбную ловлю. Но ничто не помъщаетъ намъ осмотръть зданіе снаружи. Мы обощли "зданіе" счетомъ въ десять секундъ.
- Внутри это—обширное пом'вщеніе, съ массой воздуха, свъта. Въ немъ одновременно учатся иятнадцать учениковъ! И я увъренъ, что подъ руководствомъ такого педагога, какъ г. Фридрихъ Шульцъ, изъ нихъ выйдутъ со временемъ достойнъйшіе и замъчательные

граждане. О, это очень жаль, что г. учитель ушелъ на рыбную ловлю! Вамъ доставило бы большое удовольствіе съ нимъ познакомиться! Это одинъ изъ ученъйшихъ людей: онъ окончилъ цюрихскую учительскую семинарію и могъ бы, если бъ захотълъ, быть даже бакалавромъ! Но г. Фридрихъ Шульцъ нечестолюбивъ. За нимъ нътъ этого недостатка. Это второй Песталоции!..

Мы шли по улицъ, гдъ на насъ лъниво тявкали издали, не трогаясь съ мъста, собаки, гръвшіяся на вечернемъ солицъ.

- Какія злобныя животныя! проговориль г. пасторь. Теперь мы можемь итти домой. Достоприм'ь чательности уже осмотр'вны. Какъ я вамъ говориль уже, у насъ издается м'встная газета "Воннскій Еженед'вльный Телеграфъ", но итти въ редакцію было бы безполезно: сегодня, несмотря на воскресенье, газета не выходить. Г. редакторъ пошель на рыбную ловлю. Весь городъ сегодня отправился на рыбную ловлю! словно извинился за г. редактора г. пасторъ.
- Но это ничего, поспъшилъ онъ успокоить меня, газета выйдетъ завтра! О, г. Вильгельмъ Будце одинъ изъ выдающихся редакторовъ въ міръ. Онъ самъ пишетъ всю газету съ начала до конца, самъ ее набираетъ, самъ печатаетъ и самъ же развозитъ на велосипедъ подписчикамъ. Гдъ вы еще найдете такого дъятельнаго редактора? Конечно, его органъ не такъ распространенъ, какъ другія газеты міра, но все же расходы окупаются: онъ имъетъ 20 подписчиковъ и около 500 номеровъ разсылаетъ въ разные музеи и библіотеки, конечно, gratis. Между нами говоря, я подозръваю, что онъ честолюбивъ. О, въ душъ этого

человъка таится страшное честолюбіе! Ужъ не хочеть ли онъ быть нашимъ городскимъ головою?

Пасторъ остановился около маленькаго домика, утонавшаго въ зелени.

— А вотъ домъ, гдъ родился и жилъ въ дътствъ одинъ изъ нашихъ величайшихъ людей. Человъкъ, который прославилъ имя Бонна. Да! Мы имъ гордимся. Это наша слава. Мы даже думаемъ прибить къ домику доску съ его именемъ и днемъ рожденія.

Я приготовился услышать какое-нибудь міровое имя.

— Его имя Фердинандъ Земмель. Не Прессель-Земмель, а просто Земмель. Вы услышите его имя, когда будете въ Бернъ. Онъ служитъ тамъ секретаремъ суда и скоро, говорятъ, будетъ произведенъ въ товарищи прокурора. Да, онъ родился въ Боннъ! Нътъ, гдъ, кромъ Бонна, вы встрътите такіе контрасты?! — вдругъ воскликнулъ пасторъ, словно пораженный громомъ, останавливаясь среди улицы.— Мы только что говорили о нашемъ славнъйшемъ гражданинъ, — и вдругъ... Видите вы этого человъка?

И онъ указалъ на высокаго парня, съ лѣнивымъ и безпечнымъ видомъ шедшаго по улицѣ.

- Да, г. пасторъ.
- Это Генрихъ Фулеръ. Запомните это имя: "Генрихъ Фулеръ". Вы встрътите это имя еще въ судебныхъ лътописяхъ, въ какомъ-нибудъ громкомъ процессъ о возмутительнъйшемъ изъ преступленій! Ничто не мъщаетъ этому человъку сдълаться злодъемъ. Это гроза и бичъ всего города!
- Однако, проходя мимо насъ, опъ поклонился очень привътливо и даже какъ будто робко и застънчиво.

- О, не върьте наружности этого человъка. Это величайшій притворщикъ въ міръ. Въ его душъ гнъздятся самые гнусные замыслы! Трудно даже сказать, что дълать государствамъ съ такими личностями. Онъ воръ. Да! Онъ гроза всъхъ нашихъ хозяевъ. Его прозвали "Хорькомъ", потому что онъ воруетъ яйца прямо изъ-подъ куръ. Онъ не можетъ видъть чужой курицы безъ того, чтобъ ее не украсть. А однажды даже пытался угнать у одного изъ гражданъ осленка. Извините, мой другъ, что вы по моей милости видъли одного изъ величайнихъ негодяевъ въ міръ!
  - Ничего, г. насторъ.
- И поминте всегда: "Генрихъ Фулеръ, по прозванію "Хорекъ", чтобъ знать, что пужно дълать, если судьба васъ съ нимъ гдъ-пибудь столкнетъ.

Мы возвратились домой, гдъ г-жа насторша ждала насъ съ небольшой вечерией закуской.

- Ты знаешь, жена, кого мы сейчасъ встрътили съ г. путешественникомъ?
  - Hy?
  - Геприха Фулера!!!

Добрая женщина даже поблъднъла.

— О, г. путешественникъ, я начинаю бояться за васъ.

Я посившилъ, насколько могъ, успокоить бъдную пасторицу, сказавъ, что у меня въ дорогъ всегда есть съ собой два большихъ револьвера.

Смерклось.

— Мы ложимся рапо,—сказалъ г. пасторъ,—но если вы не имъете этой превосходиъйшей привычки, тогда моя библютека къ вашимъ услугамъ. Она, конечно, не такъ велика, какъ другія кингохранилица, но зато недурно подобрана. Въ ней вы найдете много рѣдкихъ и цѣнныхъ книгъ, съ которыми стоитъ познакомиться: Плутарха — "Жизнеописаніе замѣчательныхъ людей", Смайльса—"Самодѣятельность", Бокля—"Исторія цивилизаціи Англіи", не говоря уже о "Философіи чистаго разума" Канта, которая у меня имѣется и которой я горжусь!

Я поблагодариль и отказался отъ чтенія этихъ рфд-кихъ книгъ.

— Вы устали. Въ такомъ случав намъ остается только пожелать спокойной ночи другъ другу и разойтись. Въ вашей комнатъ наверху вы найдете свъжую постель. Васъ проводитъ туда наша служанка Роза, одна изъ скромнъйшихъ дъвушекъ!

Послъднее г. пасторъ прибавилъ, въроятно, такъ, скоръе изъ чувства "мъстнаго патріотизма", чъмъ для предупрежденія.

Хорошенькая Роза, пухленькая какъ только что испеченная булка, провела меня наверхъ, еще разъ убъдилась, все ли у меня есть, что нужно, пожелала спокойной ночи и хотъла уйти.

Я тихо ваялъ ее за талью и привлекъ къ себъ. Розочка вся вспыхнула.

- О, сударь, вы, какъ я вижу, величайшій изъ ловеласовъ на свътъ! прошептала она, стараясь ускользнуть изъ моихъ рукъ.
- А ты величайшая изъ скромницъ, добродътельнъйшее изъ существъ. Знаю, знаю все, что ты скажешь. И върю! Но неужели нельзя одинъ разъ поцъловать?

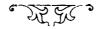
И я опустиль ей въ руку луидоръ.

- О, сударь, мнѣ кажется, что вы не кто иной, какъ самъ дьяволъ,—тихо сказала Розочка, подставляя щеку для поцълуя, и убъжала.
- Всѣ и прежде всѣхъ, конечно, единственный городской извозчикъ, за которымъ для меня послали были несказанно удивлены, когда я на слѣдующее утро заявилъ, что ѣду съ первымъ же поѣздомъ.
  - Г. пасторъ былъ прямо ошеломленъ:
- Какъ? Вы хотите уъхать, даже не побывавъ въ боннской школъ? Не познакомившись съ нашимъ учителемъ? Вамъ не нравится Боннъ?!
- Нътъ, нътъ, дорогой г. насторъ. Но то, что я здъсь увидълъ! Столько впечатлъній, полученныхъ вчера! Вы разсказывали столько удивительныхъ вещей И этотъ сторожъ, который непостижимо спитъ цълый день, и эти собаки, преисполненныя непримиримой злобы къ человъческому роду, и этотъ негодяй, который еще никого не убилъ, но, навърное, убъетъ... Нътъ, г. пасторъ, не удерживайте меня. Я долженъ остаться одинъ, одинъ, чтобъ разобраться во всъхъ этихъ впечатлъніяхъ, въ мысляхъ, которыя родятъ эти впечатлънія. Я и такъ не могъ заснуть всю ночь!
- О, да! Мы съ женой слышали въ вашей комнатъ какъ будто вздохи.
  - Вотъ, вотъ!
- Но я надъюсь, что если вы потомъ когда-нибудь будете писать о народахъ, странахъ, которыя вы посътили, вы не забудете на нъсколькихъ страницахъ упомянуть и о Боннъ?

— О, я опишу его, г. пасторъ, въ двънадцати томахъ самаго большого формата! Поъзжанте, мы опоздаемъ на поъздъ!

Пасторъ стоялъ на крыльцъ безъ шляны и, улыбаясь, смотрълъ мнъ велъдъ; добрая насторша кивала мнъ головой, а хорошенькая Роза, стоя сзади шихъ. махала платкомъ.

Самымъ краснымъ въ мір'в платкомъ.



Какъ я былъ туркомъ.

## Қакъ я былъ туркомъ.

Эта мысль пришла мнъ въ голову какъ-то за границей, въ одномъ изъ курортовъ.

— Буду туркомъ!

Дълается это очень легко.

Вы покупаете себъ феску, и какъ только ее надъли, —весь міръ вокругъ измъняется къ лучшему.

Все становится необыкновенно деликатнымъ, любезнымъ, внимательнымъ.

— Турокъ!

На улицъ, въ театръ, на желъзной дорогъ вы — предметъ общаго вниманія.

— Смотрите! Смотрите! Турокъ!

Мальчики поутру, идя въ школу, останавливаются передъ вашими окнами, стоятъ и пропускаютъ уроки.

— Здъсь живетъ турокъ!

Все это чрезвычайно пріятно.

Вы знаете, что десятки людей ежедневно, придя домой, говорять:

- A вы знаете! Я сегодня встрътилъ (или встрътила) турка!
  - Да неужели?!

Согласитесь, что это очень лестно.

Надо написать "Воскресеніе", вылѣпить Лаокоона или нарисовать Сикстинскую Мадонну для того, чтобы возбудить къ себъ такое же всеобщее винманіе, какое вы возбуждаете, всего на все надъвни феску.

И я рекомендую всякому и каждому, пріфажая за границу, надівать феску.

Какова бы ни была ваша наружность,—въ ней находятъ "черты храбрыхъ османлисовъ".

Когда вы молчите, въ вашихъ глазахъ видятъ "много восточной лъни и нъги".

Когда заговорите, вет толкають другь друга подъ столомъ:

— Смотрите! Смотрите, какъ горятъ его глаза! Ваша жизнь—тріумфальное шествіе.

Если вы во время там прибъгаете къ номощи ножа и вилки, это вызываетъ всеобщій восторгъ:

— Какъ онъ воспитанъ!

Если вы въ разговоръ случайно упомянете, что Лондонъ лежитъ на ръкъ Темаъ или Парижъ на ръкъ Сенъ, — всъ обмъниваются взглядами, изумленными и восхищенными:

— Скажите! Какой образованный!

Если вамъ удается болъе или менъе связно сказать двъ-три фразы, всъ находятъ, что вы прямо красноръчивы.

А если вы поднимете платокъ уронившей его дамы,— Боже, какой неописанный восторгъ вы вызовете.

— Вотъ вамъ и турки! А?!

Объ этомъ будутъ говорить три дня.

Наконецъ, если это все вамъ надобстъ, вы можете взять руками кусокъ ростбифа, вытереть руки о фалды своего сосвда или погладить даму по декольте.

И всф сдфлаютъ видъ, что шичего не замфтили:

— Въдь онъ турокъ!

Вообще можно доставить себъ массу удовольствій. Совершенно безнаказанно массу такихъ удовольствій, за которыя всякаго европейца выгонять въ шею, изобьють или убьють на дуэли.

Раньше такъ же выгодно и пріятно было быть русскимъ.

Когда вы садились за столь, сосъди спъшили отодвинуть отъ васъ "судокъ", боясь, что вы сейчасъ выпьете уксусъ и начнете себъ мазать прованскимъ масломъ сапоги, чтобы блестъли.

Къ концу объда всъ блъднъли:

— Вотъ сейчасъ вынетъ изъ бокового кармана сальную свъчку, съъстъ, а руки оботретъ объ голову сосълки!

Но теперь — увы! — эти счастливыя времена миновали.

Русскихъ столько шляется повсюду, что на нихъ не обращаютъ никакого вниманія.

Развъ какой-нибудь особенно любезный иностранецъ, желая васъ занять разговоромъ, спроситъ:

— А правда, что у васъ въ газетахъ разрѣшаютъ писать только о погодѣ?

Да и то ръдко.

Итакъ, однажды я ръшилъ превратиться въ турка.

Подъвзжая къ курорту, я въ вагонъ, въ купэ, надълъ феску, и едва вышелъ на платформу, ко мнъ бросились всъ комиссіонеры всъхъ лучшихъ пансіоновъ.

Еще бы! Каждому пансіону лестно имъть у себя турка!

Я выбраль самый лучшій изъ наилучшихъ, и комиссіонеръ, которому всъ завидовали, шепнулъ миъ:

-- Xоаяинъ съ удовольствіемъ сдѣлаетъ вамъ даже скидку!

Я думаю!

Въ книгъ для пріважающихъ я сдълалъ нъсколько каракуль и поставилъ въ скобкахъ:

— Османъ-Дигма-Бей.

А черезъ двъ минуты ко мнъ явился сіяющій хозяинъ:

— Я въ первый разъ еще имъю честь принимать у себя турка! У меня бывали англичане, французы, нъмцы, испанцы, русскіе, даже греки и венгерцы. Но турокъ, — турокъ это еще въ первый разъ. Я очень, очень радъ!

Затъмъ я слышалъ, какъ онъ по очереди обходилъ всъ двери, стучалъ, входилъ на минутку, говорилъ что-то и бъжалъ стучать въ слъдующую дверь.

Изъ-за дверей при этомъ слышались изумленныя восклицанія мужскія и женскія:

— Да неужели?!

Это онъ сообщалъ:

— Къ намъ прі халъ турокъ!

Къ табль-д'оту явился весь пансіонъ. Мужчины во фракахъ. Дамы декольте.

Объдъ съ туркомъ! Это былъ объдъ—gala. Въдь не всякому случается въ его жизни объдать за однимъ столомъ съ туркомъ.

Во вниманіе къ моимъ восточнымъ нравамъ меня посадили между двумя дамами.

И я видълъ, какъ у нихъ даже плечи покраснъли отъ гордости:

— Значить, мы ничего себъ, если насъ выбрали для турка!

Остальныя дамы смотръли на нихъ съ завистью.

А когда я имъть случай одной сосъдкъ передать соль, а другой — горчицу, — онъ были въ полномъ и неописанномъ восторгъ.

Всѣ съ удовольствіемъ переглянулись:

- Каковъ?!
- Давно вы изъ Константинополя?—спросила меня хоаяйка.
  - Два мъсяца!--отвъчалъ я.
- Я не имъла случая посътить Константинополь Но я бы очень хотъла быть. Говорять, это такой красивый городъ.
- Да, Константинополь удивительно красивъ! отвътилъ я, но спохватился и, скромно опустивъ глаза, добавилъ:
  - По крайней мъръ, такъ говорятъ!

Туть всё принялись наперерывь расхваливать Константинополь.

Оказалось, что никто еще "не имѣлъ случая посѣтить этотъ городъ". Но что всѣ "ужасно хотятъ". И что всѣ много о немъ читали.

- Эти мечети и минареты, прямые, какъ стръла, которые уносятся въ безоблачное небо!
  - -- А Босфоръ!
  - Особенно въ лунную ночь!

Я почувствоваль удовольствіе, что родился въ такомъ красивомъ городъ.

- Турки ужасно храбрый народъ! воскликнулъ кто-то, и всъ подхватили:
- О, да! О, да! Храбрый и мужественный народъ! И тутъ, вотъ тутъ-то въ первый разъ, я и почувствовалъ въ душт своей гордость.

Что жъ удивительнаго! Пріятно, когда тебя принимають за представителя порядочнаго народа.

Я покраснълъ, и покраснълъ при этомъ искренно. И опустилъ глаза.

- Право, мит трудно высказывать свое митніе... Хозяйка, чтобъ перемтить разговоръ, щекотавшій мою скромность, посптшила задать мит пріятный для меня вопросъ:
  - Какъ здоровье его величества султана? Что долженъ дълать турокъ въ такомъ случаъ? Я поблагодарилъ ее взглядомъ и отвътилъ:
- Здоровье его мудрости, его свътлости, покровителя правовърныхъ, нашего великаго повелителя находится въ самомъ вожделънномъ благополучіи и не оставляетъ намъ, простымъ смертнымъ, ожидать ничего лучшаго!

Вет были тронуты этимъ восточнымъ отвттомъ, а хозяйка посптина умиленно замтить:

- Вы вст, втроятно, такъ любите вашего султана?
- А развъ можно его не любить, когда онъ тънь Аллаха на землъ?! просто отвътиль я, какъ будто удивляясь.

И знаете что? Это странно! Но ей Богу я въ эту минуту чувствовалъ, что, дъйствительно, люблю султана, и что его нельзя не любить!

О ложь! Опа начинается съ того, что мы обманываемъ ею другихъ, а кончается тъмъ, что мы сами начинаемъ въ нее върить!

Такъ актеръ, въроятно, входитъ въ роль и начинаетъ искренно ненавидъть короля Клавдія и любить Офелію, дъйствительно, какъ сорокъ тысячъ братьевъ любить не могутъ!

Всѣ съ умиленіемъ переглянулись при моемъ отвѣтѣ:

- Какая непосредственность!

И только у одной очень молоденькой и очень хорошенькой дамы вырвалось нечаянно:

- Vieux crapule!

Собственно говоря, я бы не обратилъ на это никакого вниманія. Какое миѣ дѣло до того, что ругаютъ человѣка, съ которымъ я не знакомъ даже шапочно?

Но я замътилъ, что всъ поблъднъли. Всъ взглянули съ ужасомъ на молодую даму и потомъ уставили на меня глаза, полные мольбы.

Словно уговаривали:

— Не убивай ея!

Я почувствоваль, что должень что-то дълать.

— Но что, чортъ возьми?

Хорошо бы поблѣднѣть. "Турокъ поблѣднѣлъ, какъ полотно". Это хорошо! Но какъ это дѣлается?

На всякій случай я плотно сжаль губы и началь дышать носомъ, дълая видъ, что мив вообще чрезвычайно трудно дышать. Кровь приливала мив къ вискамъ, и я чувствовалъ, что "все лицо турка наливается кровью". Отлично! Отлично!

Затъмъ я вспомнилъ, что необходимо сверкнуть глазами. Сверкнулъ разъ, два, даже три. Остановилъ взглядъ сначала на ножъ, потомъ на вилкъ, потомъ перевелъ его даже для чего-то на стеклянную вазу съ фруктами.

Всѣ дрожали.

Нъсколько минутъ ничего не было слышно, кромъ моего сопънья.

Тогда я ръшилъ:

— Довольно! "Турокъ сдълалъ нечеловъческое усиліе и задушилъ охватившее его бъщенство".

Я улыбнулся "слабой улыбкой", словно меня ранили въ сердце, обвелъ всъхъ такимъ ваглядомъ, словно хотълъ сказать:

— Не безпокойтесь. Ничего. Я не убыю.

Всъ посмотръли на меня взглядами, полными признательности, и объдъ закончился среди всеобщихъ прославленій турецкаго султана.

Бъдняжка, у которой сорвалось съ языка неосторожное слово, сидъла, опустивъ голову, то краснъя, то блъднъя, ничего не ъла и не смъла поднять своихъ наполненныхъ слезами прекрасныхъ глазъ. Жалко!

Когда кончился объдъ, и мы, мужчины, пошли курить,—я видълъ, какъ всъ дамы накинулись на нее. Должно-быть, ей хорошо досталось!

— Простите, у насъ нътъ кальяна!—страшно волновался хозяинъ.

Но я поспъшилъ его успоконть "жестомъ, полнымъ мягкости и благоволенія".

— О, ради Аллаха, не безпокойтесь! Я охотно курю и сигары!

И окончательно привлекъ къ себъ всъ сердца.

- Вотъ никогда не думалъ, чтобъ турки были такъ милы и общительны!
- Прямо препріятный народъ въ общежитіи! услышалъ я мелькомъ замъчаніе.

Покуривъ, я отправился погулять въ садъ, и никто не осмълился сопровождать меня, зная наклонность восточныхъ людей къ уединенію и размышленіямъ.

Я шель, дъйствительно, задумавшись, хоть я и не восточный человъкъ, — какъ вдругъ въ отдаленной и

узенькой аллейкъ я столкнулся лицомъ къ лицу съ молоденькой дамочкой, обругавшей турецкаго султана.

При видъ меня она вскрикнула и отшатнулась.

Я улыбнулся и протянуль ей руку:

— Не бойтесь!

Она схватила мою руку. Ея руки были холодны и дрожали.

Она была блѣдна, какъ полотно, и смотрѣла на меня большими-большими глазами, въ которыхъ была боль и пытка.

Мнъ стало жаль ее.

Я нагнулся, чтобъ поцъловать ея руки.

Но она отдернула ихъ въ испугъ, почти съ ужасомъ, крикнувъ:

— Нъть! Нъть! Не надо!.. Это я... я должна...

Крупныя-крупныя слезы потекли у нея по щекамъ, и она заговорила голосомъ взволнованнымъ, прерывистымъ:

— Простите меня... Простите... Я нарочно пришла сюда, чтобъ попросить у васъ прощенія... Я ждала васъ... Я знала, что вы придете... Зная привычку восточныхъ людей къ уединенію и задумчивости... Простите меня... Я вамъ сдълала больно... Да? Очень больно?..

Женщины всегда, когда сдълають больно, освъдомляются потомъ: "Да? Правда? Очень больно? Очень?.."

Надо было пококетничать.

Я прижаль руку къ сердцу, какъ будто и сейчасъ еще чувствоваль боль отъ нанесенной раны.

— Конечно, сударыня, мив было очень тяжело, очень мучительно, когда при мив моего всемилостиваго падишаха назвали вдругь...

Она задрожала вся и схватилась за голову.

— Не надо! Не надо! Я чувствовала, какъ вамъ это тяжело! Какую рану я нанесла вашему сердцу!.. Я видъла, какія усилія, какія нечеловъческія, героическія усилія употребили вы, чтобъ подавить въ себъ жажду мщенья, жажду крови...

Она смотръла на меня восторженно.

— Я видъла, какъ вы страдали, я видъла эту борьбу!.. И я... я васъ полюб... Боже! Боже! Что я говорю! Зачъмъ вамъ знать это?!

И прежде, чъмъ я усиълъ опомниться, она схватила мою руку, поцъловала и кинулась въ кусты.

Вотъ такъ чортъ!

Вечеромъ, придя въ свою комнату, я увидълъ сквозь тюлевую занавъсочку на улицъ, противъ моего окна, порядочную толпу лакеевъ и слугъ пансіона.

А въ коридоръ, я слышалъ, тихонько открывались двери сосъдей, и люди на цыпочкахъ крались къ дверямъ моего номера.

Отъ меня ждали вечерняго "намаза".

Люди Запада только себъ дозволяють "свободное мышленье", а отъ насъ, восточныхъ народовъ, требують "дътскихъ чувствъ".

Чтобъ доставить удовольствіе лакеямъ и сосъдямъ, я сълъ, поджавъ подъ себя ноги, вытянулъ вверхъ руки и потихоньку запълъ:

— Ля илляга иль Аллахъ, Магометь рассуль Аллахъ, даккель, саккель, Магометъ!

Все, что я знаю изъ Корана.

Въроятно, возбуждаемый слушателями и эрителями, я пълъ даже съ увлечениемъ.

А когда я запѣлъ:

— Даккель, саккель, Магометь!

Я самъ чувствоваль, въ моемъ голосъ слышался непримиримый фанатизмъ.

Затъмъ я погасилъ лампочку, легъ спать и, послъ всъхъ сдъланныхъ за день глупостей, заснулъ, какъ убитый.

На утро — странное дѣло! — первою моею мыслью была мысль о Магометѣ и о турецкомъ султанѣ.

Я отлично помню, что подумалъ именно:

— Что-то теперь дълаетъ нашъ султанъ?

Положительно, меня гипнотизировали окружающіе. Внушали мнъ ежечасно, ежеминутно, что я турокъ.

Меня разспрашивали о Турціи, и я безпрестанно должень быль врать, расхваливая турецкія учрежденія.

Врать изъ самолюбія.

Очень пріятно быть челов' вкомъ такой страны, учрежденія которой возбуждають только см' хъ!

Очень пріятно, чтобъ на тебя смотрѣли съ сожалѣніемъ.

И я расхваливаль все: турецкихь министровь, турецкую таможню, турецкую цензуру.

— Увъряю васъ, что все это совершенно не такъ! Наша турецкая цензура чрезвычайно либеральна!

Мало-по-малу, я началь даже хвастаться Турціей. И безпрестанно замъчать:

- А у насъ, въ Турціи, это дълается такъ-то! Меня стали считать ужаснымъ патріотомъ и, когда находили въ газетахъ что-нибудь пріятное про Турцію, спъшили преподнести мнъ:
- А сегодня напечатано, что Меджидъ-паша представлялся султану!

#### Или:

-- А у васъ вырыли новый колодецъ!

Когда же въ газетахъ было что-нибудь непріятное, отъ меня прятали номеръ.

Тогда я выходиль изъ себя и посылаль мив купить эту газету, читаль и хмуриль брови, и ходиль цёлый день мрачный и нахмуренный.

Я привыкъ читать въ газетахъ только о Турціи, я искренно спрашивалъ себя, раскрывая газету:

— Ну-ка, что о насъ пишутъ?

Однажды я разсвиръпълъ такъ, что даже чутьчуть не послалъ ругательнаго письма одному редактору, который требовалъ въ своей газетъ немедленнаго раздъла Турціи.

— Насъ? Раздълить?

Такъ шло до свиныхъ котлетъ.

Однажды за объдомъ подали великолъпныя свиныя котлеты съ картофельнымъ пюре. Я протянулъ руку,— но хозяйка, покраснъвшая, сконфуженная, воскликнула:

- Это... это.. это изъ очень нехорошаго животнаго... Но я улыбнулся:
- --- Сударыня, я не такой ужъ старовъръ.

И чтобъ доказать свое свободомысліе, положилъ себѣ двѣ свиныя котлетки, а потомъ попросилъ и третью.

Это было оцънено.

Общество ваглянуло на меня съ величайшимъ со-чувствіемъ:

— Онъ младотурокъ!

Въ тотъ же вечеръ на террасъ поднялся вопросъ о религіи.

- Какъ человъкъ просвъщенный, согласитесь, однако, что Магометъ... конечно, онъ былъ великій пророкъ... но врядъ ли онъ былъ особенно правственный человъкъ.
- Ахъ, это многоженство! вавиагнула одна изъ дамъ.

Я чувствовалъ себя немножко виноватымъ передъ Магометомъ за котлеты и рѣнился защищать его изо всѣхъ силъ.

— Ничуть!--воскликнуль я съ горячностью, которой отъ себя даже не ожидалъ. — Ничуть! Вся разница Магомета отъ другихъ великихъ реформаторовъ заключается въ томъ, что другіе реформаторы писали законы для ангеловъ, а Магометъ для людей. Они хотъли создать ангеловъ на землъ. Магометъ хотълъ создать только порядочныхъ людей. Опи отвергали человъческую природу. Магометъ давалъ ей приличный видъ. Единоженство, должно-быть, не въ человъческой природъ. Всякій мужчина многоженецъ. Кто зналъ въ жизни только одну женщину? Очевидно, мы не можемъ довольствоваться одной женщиной, какъ не можемъ довольствоваться однимъ какимъ-нибудь блюдомъ. Природа, разнообразная всегда и во всемъ, и туть требуеть своего любимаго — разнообразія. Магометь только благословиль то, что раньше пего было узаконено самой природой. Онъ сказалъ: "Тебъ нужно много женщинъ, бери столько, сколько тебъ нужно, только не дълай гадостей". Мы, турки, знаемъ, мы даже очень знаемъ, что такое семья, -- но мы не знаемъ, что такое развратъ. Что дълаетъ европеецъ, когда ему нравится посторонняя женщина? Онъ разрушаетъ изъ-за этого свою семью. Это величайшее несчастіе для его семьи! А у насъ, когда магометанину нравится посторонняя женщина, онъ женится на ней, онъ увеличиваеть только, усиливаеть, умножаеть свою семью. Это превосходно для его семьи! У васъ изъ-за того, что мужчинъ нравится женщина, разрушается семья, у насъ она растеть и укръпляется.

И среди споровъ, которые вызвала эта тирада, молоденькая женщина, обругавшая за первымъ объдомъ султана, шепнула мнъ съ горящими глазами, проходя мимо меня въ темный садъ:

— Я люблю... Магомета!...

Чортъ побери, должно-быть, это не ускользнуло отъ вниманія молодого поручика, который ужъ и такъ давно смотръ́лъ на меня звъремъ.

Среди шума голосовъ раздался его дребезжавшій, звонкій тенорокъ:

— Однако, эта религія многоженства кончаетъ тъмъ, что превращаетъ всъхъ людей въ женщинъ.

Всъ ваглянули на него съ недоумъніемъ. Раздалось:

— Tccc...

Но поручикъ закусилъ удила:

— Говорять, что турки мужественны. Быть-можеть! Однако, это не мъшаеть, чтобъ ихъ били въкаждой войнъ. И въ очень непродолжительномъ времени эта мужественная нація будеть окончательно изгнана изъ Европы.

Я побліднівль. На этоть разь я, дібітствительно, чувствоваль, что побліднівль.

- Вы такъ думаете?
- Такъ думаетъ исторія! отвъчалъ поручикъ, пощинывая усики, которые только еще пробивались.

Всѣ съ ужасомъ глядѣли на меня. Что я сдѣлаю? Разорву его на мѣстѣ? Перебью всѣхъ? Начну ругаться?

Но я ръшилъ поддержать — чортъ возьми! — достоинство турокъ.

— Поручикъ, мы кончимъ нашъ споръ завтра утромъ!—сказалъ я, учтиво, но холодно кланяясь, и вышелъ въ темный садъ.

На утро мы дрались.

Будь я проклять, если мнъ хотълось драться!

Я бы съ удовольствіемъ бросилъ пистолеть и крикнуль:

— Довольно этой комедіи!

Но меня останавливала мысль:

-- Что скажуть о туркахъ!

Такъ я привыкъ уже дорожить честью Турціи.

И я подставляль свою грудь за честь "отечества".

Въ ту минуту, когда поручикъ поднималъ пистолеть, я думалъ:

"Покажемъ, какъ умираютъ османлисы!"

Оба промахнулись.

А мнф, кромф того, пришлось еще и удирать изъ курорта.

Обо миъ съ почтеніемъ и восторгомъ говорилъ весь городъ:

— Какой патріоть! Жизнь готовъ положить за родину!

Дъло проникло въ газеты, могъ явиться съ визитомъ турецкій консулъ...

Я съ удовольствіемъ, словомъ, сълъ въ купе, заваленное букетами цвътовъ, и съ наслажденіемъ, когда тронулся поъздъ, выкинулъ въ окно малиновую феску.

Но какая странность...

Вы знаете, я долго еще не могъ отвыкнуть! Беря газету, я прежде всего искалъ:

— Что пишуть о Турціи?

Часто ловилъ себя на мысли:

-- Мы, турки...

Одинъ разъ страшно удивилъ жену, машинально сдълавъ намазъ передъ тъмъ, какъ лечь въ постель.

И еще на-дняхъ ужасно обидълся, когда при мнъ обругали Турцію.

Такъ медленно выдыхается изъ меня турецкій патріотизмъ.

Я медленно, съ трудомъ освобождаюсь отъ лжи, въ которой однажды увърилъ себя. Словно выздоравливаю отъ тяжкой болъзни. Словно просыпаюсь отъ гипноза.

Что же такое патріотизмъ, если можно сдѣлаться даже турецкимъ патріотомъ?! Нѣчто такое, о происхожденіи чего мы просто никогда не подумали.



# Святочный разсказъ.

## Святочный разсказъ.

Я надълъ фракъ и сълъ въ шкапъ.

Конечно, это глупо, но объясняется тъмъ, что у насъ въ домъ идетъ уборка.

А теперь нужно инсать святочный разсказъ.

Извините, что святочный разсказъ будетъ на этотъ разъ безъ чертей.

Но всъ черти разобраны.

Потапенко, Назарьева, другіе Потапенки, другіе Назарьевы—всѣмъ нужно по чорту для святочнаго разсказа.

Вы сосчитайте только.

Одинъ г. Потапенко пишетъ, по меньшей мъръ, восемнадцать святочныхъ разсказовъ; восемнадцать разсказовъ—восемнадцать чертей.

Гдъ же тутъ чертей наберешься!

Такъ что разсказъ будетъ безъ чорта.

Впрочемъ, я ужъ упомянулъ, кажется, о женъ моей. Довольно и этого.

Итакъ.

### ОТРАВЛЕННЫЙ ПРАЗДНИКЪ.

(святочный разсказъ).

Наступала ясная, свътлая рождественская ночь.

На небъ высыпали безчисленныя звъзды, и изъ-за легкихъ какъ кисея облаковъ всплывала луна. Не забыть, чортъ возьми, кисеи купить для своячиницы.

Вотъ еще сокровище!

Готовится на костюмированный балъ.

Собственно говоря, какая это ерунда, будто мы женимся на одной женъ.

Нътъ-съ, милостивый государь, вы женитесь сразу на женъ, на тещъ, на двухъ своячиницахъ, на четырехъ ихъ двоюродныхъ сестрицахъ.

У васъ дома заведется цълый гаремъ, чортъ его побери.

Своячиница сидить у вась на письменномъ столѣ и болтаетъ ногами, теща роется въ вашихъ бумагахъ, ища любовныхъ записокъ, кузины заставляютъ слушать ихъ пѣнie!

Всъ имъютъ на васъ право!

И вы обязаны всёмъ имъ дарить подарки, обновы, чорта въ ступъ!

Однако, луна ужъ выплыла!

Морозъ кръпчалъ и кръпчалъ.

Городъ затихъ послѣ обычной предпраздничной суеты.

Я, собственно говоря, нахожу, что ничего глупъе этой суеты нельзя придумать.

Люди цѣлый годъ живутъ свиньями и къ празднику вдругъ начинаютъ убираться!

Убираться!

Старые женины башмаки, которые, чорть ихъ знаетъ зачъмъ, цълый годъ валялись на чемоданъ, прячутъ въ вашъ письменный столъ.

Это у нихъ называется "убираться"!

А мужъ садись въ шкапъ, да еще во фракъ.

Во фракъ потому, что со всъхъ остальныхъ костюмовъ выводятъ пятна.

Цълый годъ человъкъ ходить весь въ пятнахъ, и ни одна собака не обращаетъ на это никакого вниманія, а подходитъ праздникъ—надъвай фракъ и маршъ въ шкапъ.

Костюмы будуть чистить!

Надо вамъ сказать, что и въ шкапъ я попалъ не сразу.

Сначала меня послали писать на подоконникъ: въ кабинетъ уборка.

Горничная Акулина со свойственной ей легкостью вспрыгнула на подоконникъ,—ей нужно снимать гардины, — и какъ разъ наступила голой ногой мнъ на бумагу.

Надо вамъ сказать, что, когда я пишу, я увлекаюсь, — и не обращаю на пустяки никакого вниманія.

Я какъ разъ писалъ самое драматическое мъсто разсказа, и самое горячее мъсто сгоряча написалъ на ногъ Акулины.

#### — Ай, щекотно!

Эта дура вавиагнула, брыкнула ногой и прямо понала миъ пяткой въ подбородокъ.

Это бы еще ничего, но она упустила изъ рукъ деревянный карнизъ, и онъ изо всей силы треснулся о мое темя.

Кто ее зналъ, что она такъ бонтся щекотки.

А жена вывела изъ этого заключеніе, будто я щекочу пятку у горничной, сдълала что-то тамъ башмакомъ у меня на головъ и прогнала меня въкухню.

Къ этому нужно еще прибавить, что горничная, когда карнизъ упалъ, вскрикнула и присъла мнъ на голову.

Тоже нервы!

Впрочемъ, на это не стоитъ обращать вниманія, потому что она скоро слѣзла.

Въ общемъ меня прогнали въ кухню.

Въ кухнъ, собственно говоря, писать недурно, но оказывается, что у кухарки Мавры есть кумъ, пожарный.

Засталъ меня въ кухнъ-и сейчасъ сцену ревности.

- Ты что жъ это, говорить, писарь, къ чужимъ кухаркамъ ходишь?
- Во-первыхъ, говорю, я не писарь, а писатель. А во-вторыхъ, кухарка моя!
- Я, говорить, тебъ покажу, чья это кухарка: твоя или моя!

И показалъ!

Потомъ извинялся:

— Могь ли, — говорить, — я, баринь, думать, что благородный баринь на собственную куфню писать пойдеть? Я,—говорить, — думаль, что вы изъ писарей и къ кухаркъ пришли за амурами!

Этакій дуракъ!

Далъ ему Богъ силу, а разсужденія ни на грошъ. Ушелъ отъ дурака въ шкапъ— зд'всь меня никто не тронетъ.

Да, такъ на чемъ я остановился?

Городъ затихъ. На улицахъ не видно было даже извозчиковъ.

Иванъ Петровичъ, закутавшись въ шубу и поднявъ воротникъ, быстро шагалъ домой.

Онъ думалъ о дътяхъ, о женъ...

О томъ, какъ весело потрескиваетъ каминъ, какъ дъти стоятъ около запертой двери залы, стараясь хоть въ замочную скважину разсмотръть, что тамъ дълается.

Какъ онъ отворить эту дверь, какъ крикъ радости, изумленія, восторга вырвется у дѣтей при видѣ этой горящей огнями елки. Онъ видѣлъ веселыя лица дѣтей, счастливое лицо жены...

Морозъ все кръпчалъ и кръпчалъ, а на душъ становилось все теплъе и теплъе.

Иванъ Петровичъ былъ даже доволенъ, что нѣтъ ни одного извозчика, что ему приходится итти пѣш-комъ.

Такъ пріятно было пережить еще разъ въ воображеніи тѣ впечатлѣнія, которыя онъ переживетъ черезъ какую-нибудь четверть часа.

Взять больше радости отъ этого славнаго праздника! Ему было пріятно, что на улицъ нътъ прохожихъ, что никто и ничто не мъшаетъ ему думать, улыбаться отъ тихой радости, которая наполняла его душу.

Онъ весь погрузился въ свои веселыя, отрадныя мысли и не замътилъ, какъ сзади раздались мелкіе, торопливые шаги.

Какъ вдругъ кто-то его толкнулъ подъ руку, и женскій голосъ проговорилъ:

— Хорошенькій, куда вы такъ торопитесь!

Она старалась говорить весело, но слышно было, какъ раза два отъ холода стукнули ея зубы.

Кто разговариваетъ съ уличными женщинами?

Иванъ Петровичъ только ускорилъ шаги. Но она не отставала.

Онъ вабъсился, ръзко повернулся къ ней, чтобы крикнуть:

### — Пошла прочь!

Они были какъ разъ около фонаря. Его свътъ падалъ на перемерашее, словно закоченъвшее лицо женщины, въ легкой кофточкъ, дрожавшей передъ Иваномъ Петровичемъ.

Онъ только что хотълъ крикнуть: "пошла прочь!" какъ вдругъ взглянулъ, вздрогнулъ и остановился.

Чорть возьми, только что получиль непріятное навъстіе.

И главное, на самомъ интересномъ мъстъ разсказа. Изжарили младенца.

Я всегда говорилъ, что эта уборка до добра не доведетъ!

Въ дътской, оказывается, нужно было прибирать, и младенца положили въ кухню на плиту.

Больше мъста не было!

Дура Мавра, которая, благодаря этой проклятой уборкъ, потеряла голову, не замътила ребенка, затопила плиту и ушла.

Ну, младенецъ, конечно, и нажарился!

Вотъ вамъ и имъй послъ этого дътей!

Съ этими уборками, сколько ни имъй дътей, всъхъ перепарятъ.

Бъдный Ваня! Изжарить такого умнаго мальчика! Вернемся, однако, къ разсказу.

На чемъ я остановился?

Да, на томъ, что Василій Николаевичъ, — кажется, такъ зовуть героя, а впрочемъ, чортъ его возьми, какъ его зовуть.

Василій Николаевичъ остановился и вадрогнудъ

Дрожавшая женщина, видимо, тоже хотъла сказать что-то, но, взглянувъ въ лицо Василія Николаевича, слегка вскрикнула и остановилась.

Можно было подумать, что передъ ними выросло по привидънію.

- Ты?..
- Вася?.. Василій Николаевичъ...
- -- Откуда ты взялась?.. На улицъ... подъ такой праздникъ...

Она задрожала еще сильное, на этотъ разъ не отъ холода, слезинки заблистали на росницахъ.

— Что же дълать?!

Василій Николаевичь чувствоваль, что у него кругомь идеть голова.

- Да какъ же это... какъ же...
- Надо же гдъ-нибудь ночевать...
- Какъ, ты...
- Выгнали съ квартиры... Не плачу... Некрасива стала... добывать трудно.
  - Маша, Маша, да какъ же это?...

Она зарыдала.

- А что же вы думали, что замужъ, что ли, кто возьметъ дъвушку съ ребенкомъ, на мъстъ держать станутъ?..
  - Съ ребенкомъ... съ ребенкомъ...

Въ ея заплаканныхъ глазахъ сверкнулъ злой огонекъ.

- Ну, да, помните, небось, что когда меня бросили, я была въ положеніи... Сами же мнѣ совѣтовали въ пріютъ подкинуть.
  - --- Маша... Маша...
- Нечего! Правда въдь! Испугались, что въ "исторію" попали. На другую квартиру переъхали, пу-

скать не велъли... А потомъ удивляетесь, что на улицу попала!..

- Но я... но я...
- Знаемъ, какъ вы всѣ говорите! "Почемъ я знаю, что это мой!" Такъ не угодно ли прогуляться, пойдемте, поглядите: двѣ капли вылитый вы. Не будете сомнѣваться!
- Но гдъ же ребенокъ? Въдь ты же безъ квартиры...
- У сапожника въ ученыи. Шпандыремъ по головъ быютъ вашего сына, подмастерыя за волосы таскаютъ, порютъ не на животъ, а на смерть...
  - Перестань, перестань...

Стыдъ, какая-то тоска охватывала Василія Николаевича.

- Замолчи ради Бога!
- Нечего молчать. Вотъ гдъ накинъло все это. Ваши-то дътки, пебось, —другія-то, —нарядныя ходять, видъла я ихъ, будь они...

Какой-то инстинктивный ужасъ передъ проклятіемъ этой женщины, которое готово было обрушиться на его дътей, охватилъ его.

- Маша! Маша! Не говори этого, не говори о моихъ дътяхъ!
- A это не вашъ ребенокъ? Не ваша кровь? Однимъ все, а другого ремнемъ лупятъ...

Она уже перестала дрожать, она больше не коченъла отъ холода, кровь прилила къ лицу.

Она говорила громко, взвизгивая, наступая на него, схватила его за руку.

— Елку, небось, устранваешь для своихъ дътей. Елку? А другого колодкой быотъ по головъ... И вдругъ онъ почувствовалъ, что его, его ребенка бъютъ по головъ колодкой!

Онъ вскрикнулъ:

— Маша! Маша! Ради Бога! Перестань!... Гдъ онъ? Глъ?

Ему хотълось схватить этого ребенка, вырвать оттуда, гдъ его мучатъ, увести, обласкать, кинуться передъ нимъ на колъни, просить прощенія, плакать, рыдать передъ своимъ ребенкомъ.

Его голосъ такъ задрожалъ, когда онъ говорилъ это, въ немъ послышалось такъ много муки, страданія, что у Вари вдругъ исчезла куда-то вся злоба, къ горлу поднимались, ее душили какія-то теплыя слезы.

Не слезы злобы, которыя давять, ръжуть горло, а слезы нъжности, любви, чего-то такого новаго, ненспытаннаго.

Она схватила Петра Петровича за объ руки.

— Пойдемъ, пойдемъ туда... Они еще не ложились... Подъ праздникъ подканчиваютъ работу... Поздно сидятъ... Мы увидимъ его... Приласкай хоть разъ... хоть разъ своего ребенка!..

Дальше она не могла говорить. Слезы хлынули, она зарыдала.

— Идемъ! Идемъ!-торопилъ онъ.

И они быстро пошли, почти побъжали.

Она, рыдая, на ходу утирала слезы. Онъ со слезами на глазахъ.

Онъ забылъ обо всемъ—о женѣ, о дѣтяхъ,—онъ думалъ только объ этомъ ребенкѣ, котораго онъ сейчасъ прижметъ къ своему сердцу.

Они быстро перебъгали черезъ улицы, бъжали тротуаромъ, завернули въ какія-то ворота, спотыкаясь,

пробъжали обледянълый дворъ, повернули куда-то за уголъ и остановились у двери, обитой рогожей.

— Здѣсь! — сказала она, еле переводя дыханіе, и отворила дверь.

Оттуда на нихъ пахнуло какимъ-то вонючимъ паромъ, запахомъ кожи, вара, пота, щей. Слышались пъсня, ругань и торопливый стукъ молотковъ, которыми заколачивали сапожные гвозди.

— Что же ты?.. Идите!

Нътъ, какъ вамъ нравится моя своячиница! Сейчасъ пришла и повъсила въ шкапу рядомъ со мной мои новыя панталоны.

Ей пришла въ голову мысль примърить ихъ на себя: хотятъ рядиться и ъхать къ знакомымъ.

Могу сказать, примърила!

Теперь въ эти панталоны можетъ войти шесть такихъ ногъ, какъ мои.

Когда дамы съ ихъ бедрами примъряютъ наши панталоны, панталоны висятъ потомъ на нашихъ ногахъ, какъ на палкахъ.

И кто, спрашивается, позволилъ ей надъвать мои панталоны!

Въль не надъваю же я ея!

Яковъ Семеновичъ, чортъ его побери, шагнулъ въ эту сырую, грязную, промозглую мастерскую.

Онъ съ ужасомъ глядълъ передъ собою, глядя на этихъ лохматыхъ, нечесанныхъ, грязныхъ мальчишекъ съ перемазанными лицами.

— Который изъ нихъ его сынъ?

А свади него раздался радостный голосъ матери:

— Петя!

Этотъ голосъ, въ которомъ было столько свътлой радости, счастья, материнской любви, привелъ въ веселое настроеніе всю мастерскую.

Подмастерья заржали:

— А! Грушка! Съ кануномъ праздника!

Мальчишки, чтобы не отстать отъ варослыхъ, аагоготали, заорали.

У Семена Николаевича голова пошла кругомъ.

Ему показалось, что онъ попалъ въ какой-то адъ.

Онъ слышалъ только, какъ кто-то крикнулъ:

— Петька! Ступай! Мамка денегь и гостинцевъ припесла! Хо-хо!

И все покрылось снова гоготаньемъ.

Какому-то мальчишкъ на ходу дали подзатыльника, и Николай Семеновичъ отшатнулся, когда передъ нимъ появился всклоченный, измазанный мальчишка и, улыбнувшись во весь ротъ циничной улыбкой, крикнулъ:

— Здрасьте, господинъ, съ праздничкомъ! На чаекъ бы съ вашей милости! Маменькъ почтенье!

Петька считаль долгомъ щегольнуть передъ мастерской удальствомъ и лихостью.

Мастерская загоготала.

Петръ Васильевичъ отшатнулся съ отвращеніемъ, съ ужасомъ.

— Это... это... его сынъ...

Одна мать ничего не видъла, не слышала, не замъчала, она толкала Петра Васильевича, глядя на Петьку счастливыми глазами, словно передъ ней былъ красавецъ-ребенокъ, весь въ кружевахъ и лентахъ.

— Что жъ ты?.. Цълуй его... Цълуй... Воть онъ... нашъ Петя... Что жъ ты?.. Что жъ ты?..

Петръ Васильевичъ съ ужасомъ глядѣлъ на сына, нагнулся и поцѣловалъ его подъ хохотъ всей мастерской.

Ему давило грудь, нечъмъ было дышать.

— Такъ... цълуй его... цълуй...— слышался среди всего этого ада былъ счастливый голосъ матери.— Петя... Петя... цълуй его... цълуй... Въдь это твой отецъ!

Шумъ, гамъ, ревъ, хохотъ поднялись въ мастерской...

- На-те вамъ, на-те!—крикнулъ Петръ Ивановичъ, дрожащими руками вынулъ бумажникъ, бросилъ и, не номня себя, кинулся изъ этого дома.
- Подлецъ!—раздался женскій крикъ, почти вопль, среди этого дьявольскаго содома.

Петръ Ивановичъ бъжалъ по улицамъ; шумъ, гамъ, свистъ, хохотъ звучали у него въ ушахъ.

Онъ задыхался, какъ задыхаются во время кошмара. И очнулся, только пробъжавъ чуть не десятокъ улицъ.

Онъ былъ близко отъ своего дома.

У него подкашивались ноги, пока опъ бъжаль къ подъъзду, пока звонилъ.

Ему казалось, что вотъ-вотъ его схватитъ женщина и потащитъ туда, въ эту ужасную берлогу.

Боже, какъ долго, какъ долго не отворяли.

Отворили! Наконецъ-то!

Петръ Ивановичъ упалъ на стулъ въ передней.

— Папа! Что ты такъ долго?

Въ переднюю вбъжали дъти.

Маленькая Маруся въ бъленькомъ платьицъ съ розовыми бантами, съ волосами, какъ ленъ, карабкалась къ нему на колъни, лъзла цълсваться и вдругъ расхохоталась.

- Папочка! Папочка! Гдѣ ты такъ испачкался? У тебя все лицо черное! Папочка!
  - Папочка! Папочка!—звенъли дътскіе голоса.

У Ивана Петровича хлынули слезы.

Онъ прижалъ къ себъ свою крохотную дъвчурку, покрывалъ поцълуями ея личико.

— Дъточка! Дъточка!

И, словно призракъ какой-то, передъ нимъ стоялъ грязный, лохматый мальчишка съ циничной улыбкой на вымазанномъ лицъ.

Дальше я не могу писать, потому что меня перевернули вверхъ ногами.

Шкапъ, оказывается, нужно на праздники вынести въ сарай.

Про меня среди уборки, разумъется, забыли.

Меня несуть вмъстъ со шкапомъ.

Что я буду дълать въ сараъ, да еще вверхъ ногами?

## Пъсни паяца.

## Лѣсни паяца.

Смъйся, паяцъ!

Жизнь несется стрълой. Что радость и горе? Пылинки, приставшія къ ней.

Все отлетаетъ при быстромъ полетъ.

Все отлетаетъ, не оставляя слъда.

Смъйся жъ надъ радостью, смъйся надъ горемъ. Смъйся, паяцъ!

### I. Старая пѣсня.

Это случилось давно, но это случалось и раньше. Арлекинъ любилъ Фаншетту, а Фаншатта—Арлекина. Онъ твердилъ ей:

— Будь моею, и клянусь, тогда красотки для меня не будеть въ мірѣ лучше, краше и милѣе дорогой моей Фаншетты. И клянусь, что въ мірѣ цѣломъ для меня не будетъ женщинъ, кромѣ женщины единой—дорогой моей Фаншетты.

И повърила Фаншетта.

Шесть недѣль не сводить взоровъ Арлекинъ съ своей Фаншетты, шесть недѣль одно и то же онъ твердитъ, глядя ей въ очи:

— Ты, какъ майскій день, прекрасна!

Шесть недфль!

А на седьмую приглянулась Коломбина.

Это случилось давно, но это случалось и раньше.

\*

И Фаншетта не эѣваетъ. Что жъ? Поправился паяцъ ей. Развъ сердцу что закажешь?

Былъ паяцъ красивъ собою. Куда лучше Арлекина! Веселъ, милъ и остроуменъ. Какъ талантенъ! Какъ изященъ! Съ нимъ лишь счастлива Фаншетта. Арлекину въ очи глядя, она думаетъ:

"Какое же здъсь сравнение быть можетъ?"

Въ поцълуяхъ этотъ—школьникъ, а паяцъ—любви учитель. Лишь въ его объятьяхъ только и поймешь, любовь что значитъ. Сколько нъжности во взглядъ, сколько страсти въ поцълуяхъ. Арлекинъ же...

Арлекинъ же?.. Арлекинъ, Фаншетту нѣжа, лишь мечталъ о Коломбинѣ.

Это случилось давно, но это случалось и раньше.

\* \*

Страсть свою сдержать не въ силахъ, поръшила вдругъ Фаншетта убъжать отъ Арлекина.

Арлекинъ нашъ занятъ чѣмъ-то (вѣроятно, Коломбиной). Арлекина дома нѣту. И Фаншетта посиѣшаетъ собирать свои пожитки.

А паяцъ стоитъ на-стражъ. Гей, Фаншетта! Поскоръе! Арлекинъ идетъ проклятый!

И Фаншетта поскоръе, второпяхъ не разбирая (до разбору ль?), прячеть письма.

Письма, что писаль панцъ ей. Письма, дышащія страстью, буква каждая въ которыхъ поцѣлуемъ дынитъ энойнымъ.

Пусть не знаеть Арлекино, съ къмъ Фаншетта убъжала! Пусть не знаетъ, что давно ужъ рогоносцемъ онъ гуляетъ!

— Гей, Фаншетта! Поскоръе! Арлекинъ подходитъ близко!

И Фаншетта, по ошибкъ, прячетъ письма не паяца, а тъ письма Коломбины, что писала къ Арлекину.

Это случилось давно, но это случалось и раньше.

\* \*

Разъ Фаншетта захотъла прочитать паяцу снова всъ тъ письма, что писалъ онъ.

— Чтобы клятвы не забыль ты, чтобъ словамъ любви и ласки у себя же поучился! Чтобы нъжностію прежней окружаль свою Фаншетту, чтобы помниль, что измъной я убила Арлекина!

И въдь надо же случиться!

Мысль такая жъ точка въ точку вдругъ пришла и Арлекину.

Захотълъ онъ Коломбинъ прочитать ея же письма, Коломбинъ чтобъ напомнить про весну любви взаимной,—той любви, что погубила его бъдную Фаншетту. Въдь Фаншетта, догадавшись про измъну злую мужа, убъжала и, навърно, нътъ бъдняжки ужъ на свътъ.

Со слезой невольной оба въ одинъ часъ, въ минуту ту же, Арлекино и Фаншетта принялись читать тъ письма.

Нътъ! Представьте удивленье!

- --- Измънила мнъ Фаншетта!
- Измънилъ мнъ Арлекино!

И съ отчаяньемъ во взглядъ восклицаютъ въ одинъ голосъ:

— Это случилось давно, но жаль, что со мною не случилось этого раньше!



## Оглавленіе.

	Cmp	•
Очаровательное горс		5
Писательница		5
Петербургъ	25	3
Встръча	38	3
Зпаменитость	58	3
О чемъ говорятъ въ Коломић	67	7
Убійство		5
Визитъ		9
Ночь	97	7
Тънь		1
Въ послъдній часъ	128	}
Зритель	139	)
Случай	158	}
Желъзнодорожная семья	163	5
Человъкъ, котораго интервью провали	18	5
Замъчательнъйшій городъ въ міръ	208	}
Какъ я былъ туркомъ	219	)
Святочный разсказъ	237	7
Пъспя паяна	259	3

## В. М. Дорошевичъ.

## Собраніе сочиненій.

### Изданіе Т-ва И. Д. Сытина.

Томъ 1. Семья и школа.

Томъ 11. Безвременье.

Томъ III. **Крымск**іе разсказы.

томъ IV. Литераторы и общественные дъятели.

Томъ V. По Eвропъ.

томъ VI. Этористические разсказы.

Томъ VII. Разсказы.

томъ VIII. Судебные очерки.

Томъ IX. Сцеха.

Томъ Х. По бълу-свъту.

Томъ ХІ. Легенды.

Томъ XII. фельетоны.

Цпна за каждый томъ 1 р.